

Возлюбленная

Автор:

Тони Моррисон

Возлюбленная

Тони Моррисон

Loft. Нобелевская премия: коллекция Лучшее из лучшего. Книги лауреатов мировых литературных премий

«Возлюбленная» – самый знаменитый роман Тони Моррисон, удостоенный Пулитцеровской (1988), а затем и Нобелевской премии (1993). Это удивительная история чернокожей рабыни Сэти, решившейся на страшный поступок – подарить свободу, но забрать жизнь. Роман о том, как трудно порой бывает вырвать из сердца память о прошлом, о сложном выборе, меняющем судьбу, и людях, которые навсегда остаются любимыми.

Тони Моррисон

Возлюбленная

Toni Morrison

BELOVED

Copyright © 1987, 2004 by Toni Morrison

© Тогоева И., перевод на русский язык, 2016

* * *

Их было более

шестидесяти миллионов

...не Мой народ назову

Моим народом, и не

возлюбленную – возлюбленную.

Послание к Римлянам;

9,25

Часть первая

Неладно было в доме номер 124. Хозяйничало там зловредное маленькое привидение, дух ребенка. Женщины и дети, жившие в доме, отлично знали это. И долгое время, каждый по-своему, как-то мирились с тем, что отравляло им жизнь, но к 1873 году все изменилось. И Сэти со своей дочерью Денвер остались последними его жертвами. Бэби Сагз, свекровь Сэти и бабушка Денвер, умерла, а мальчики, Ховард и Баглер, давно уже сбежали из дома – им тогда еще и тринадцати не было. Баглера доконало зеркало, вдруг разлетевшееся вдребезги, когда он захотел посмотреться в него, а Ховард сломался, когда увидел на только что испеченном пироге отпечатки двух крошечных ладошек. Ни тому, ни другому больше намеков не потребовалось: ни перевернутых горшков с только что сваренным горохом, дымящейся грудой вываленным на пол, ни появления у порога крошек печенья, которые сами собой собираются в аккуратные кучки. Не стали они ждать и затишья – порой неделями или даже

целыми месяцами в доме было спокойно. Нет. Оба сбежали – стоило дому совершить против них то, чего уже нельзя было вытерпеть дважды. Сбежали через два месяца, прямо среди зимы, оставив свою бабушку Бэби Сагз, мать Сэти и маленькую сестренку Денвер в серо-белом доме на Блустоун-роуд совершенно одних. Тогда у этого дома еще и номера-то не было, потому что Цинциннати сюда дотянуться не успел. В сущности, и Огайо всего каких-то семьдесят лет как стал называться штатом. И вот, сперва один брат, а потом и второй сунули в шляпы узелки с нехитрым имуществом, подхватили башмаки и удрали из дома, который так живо проявлял по отношению к ним свою неприязнь.

Бэби Сагз даже и головы не подняла. Лежа в постели, больная, она слышала, конечно, как внуки уходят, но вовсе не потому не проронила ни звука. Странно, думала она, как долго они не могли понять, что другого такого дома, как их, на Блустоун-роуд, и в помине нет! Бэби Сагз ощущала себя как бы между «паскудством жизни», как она это называла, и мстительной злобностью мертвых, и была равнодушна и к продолжению жизни, и к тому, чтобы поскорее покинуть этот мир; и ее весьма мало волновало бегство из дому двух перепуганных мальчишек. Ее прошлое, как и настоящее, было непереносимо; а поскольку она знала, что смерть дает все что угодно, только не забвение, то использовала немногие оставшиеся силы, размышляя о цветах радуги.

– Принеси что-нибудь сиреневое, если найдется. Или хоть розовое...

И Сэти непременно старалась угодить ей – находила лоскуты сиреневого и розового цвета и даже показывала язык. Зимы в Огайо особенно неприветливы, если хочется многоцветья. В небесах – один и тот же спектакль в серых тонах, а уж сам вид города Цинциннати и вовсе не способен пробудить радость. Так что Сэти с Денвер старались сделать для Бэби Сагз все, что могли и что позволял им дом. Вместе они вели борьбу, довольно вялую впрочем, с возмутительным поведением этого странного места; с перевернутыми помойными ведрами, со шлепками по заднице, с невесть откуда взявшимися отвратительными запахами. Потому что истоки этой злобы были им известны так же хорошо, как и истоки света.

Бэби Сагз умерла вскоре после того, как сбежали братья, так и не проявив ни малейшего интереса ни к их бегству, ни к собственному уходу из жизни; и сразу после этого Сэти и Денвер решили прекратить свои мучения и вызвать привидение на поединок. Или хотя бы на переговоры. И вот, взявшись за руки, мать и дочь громко крикнули:

– А ну выходи! Сейчас же, а то хуже будет!

Буфет чуть отодвинулся от стены, но остальное осталось на своих местах.

– Должно быть, это бабушка Бэби мешает, – сказала Денвер. Ей было десять, и она никак не могла простить Бэби Сагз того, что та умерла.

Сэти открыла глаза.

– Вряд ли, – возразила она дочери.

– Тогда чего же оно не выходит?

– Ты забываешь, какое оно маленькое, – напомнила Сэти. – Малышке ведь и двух лет не исполнилось, когда она умерла. Слишком мала была, чтобы что-то понимать. И почти еще ничего не говорила.

– Зато теперь она наверняка не желает совсем ничего понимать! – сказала Денвер.

– Может быть. Но если б она захотела выйти к нам, так я бы уж непременно все ей разобъяснила. – Сэти выпустила руку дочери, и они вместе придвинули буфет обратно к стене. За окном возница огрел лошадь кнутом, пуская ее в галоп – все стремились поскорее миновать дом номер 124.

– Ты все говоришь «маленькая», а на колдовство у нее небось сил хватает, нечего сказать! – сердито заметила Денвер.

– У меня тоже тогда сил хватило с избытком – на любовь к ней, – откликнулась Сэти, снова все вспомнив. Желанная прохлада, кругом заготовки для надгробий, и выбранный ею камень, к которому она прислонилась, широко расставив ноги, и могильный холод внутри... Камень был нежно-розовый, точно ногти младенца, и посверкивал блесками кварца. Десять минут, сказал он. Десять минут, и я сделаю это бесплатно.

Десять минут за двенадцать букв. А если еще десять, могла бы она попросить его прибавить «дочери моей»? Она тогда не решилась спросить и до сих пор мучилась сознанием того, что это было вполне возможно – что за двадцать минут или, скажем, за полчаса она могла бы расплатиться за все те слова, что священник произнес на похоронах (да только это, собственно, и можно было сказать), и резчик вырезал бы их на том камне, который она выбрала в качестве надгробия: «Возлюбленной дочери моей». Но она уплатила – так уж договорилась – всего лишь за одно слово, самое главное. Она думала, этого достаточно, отдаваясь резчику среди каменных глыб, а его молодой сын следил за нею, и на лице его было написано затаенное вожделение и застарелая злость. Да, этого слова, конечно же, было достаточно. Достаточно, чтобы ответить еще одному священнику, еще одному аболиционисту, и целому городу, исполненному отвращения к ней.

Рассчитывая обрести душевный покой, она совсем позабыла о другой душе, душе ее малышки-дочери. Кто бы мог подумать, что в такой крохе может таиться столько злобы? Нет, отдаться среди будущих надгробий резчику под злобно-голодными взглядами его сына было мало. И она должна была еще прожить долгие годы в доме, находящемся в полной власти духа, духа ребенка, которому перерезали горло и который ей этого не простил; и все же те десять минут, когда она стояла, широко расставив ноги и прижавшись спиной к камню цвета зари, сверкавшему яркими блестками, показались ей длиннее целой жизни; они были точно наполнены живой кровью, еще более горячей, чем та, что лилась из раны на шее ее девочки, и руки у нее были в этой крови, густой, как масло, и липкой.

– Можно переехать в другой дом, – предложила она как-то свекрови.

– А зачем? – спросила Бэби Сагз. – Нет в этой стране такого дома, который не был бы битком набит духами несчастных забитых негров. Нам еще повезло, что наше привидение – ребенок. А что, если бы сюда явился дух моего мужа? Или твоего? Нечего и говорить о переезде. Ты судьбу не гневи: ты счастливая, у тебя ведь еще трое осталось. Трое цепляются за твою юбку, а четвертая безобразница шлет приветы с того света. Вот и будь за это благодарна! У меня их было восемь. И ни одного не осталось. Четверых продали, еще четверых как не бывало, и духи их, наверно, в чьем-нибудь доме тоже творят зло. – Бэби Сагз провела ладонью над глазами. – Моя первая девочка... Я только и помню, что она подгоревшую хлебную корочку любила. Это тебе как? Восемь детей родила – а помню только это.

– Позволяешь себе помнить, – возразила тогда Сэти, хотя прекрасно понимала, как это бывает; у нее теперь тоже остался только один ребенок: мальчиков прогнал из дому дух мертвой малышки. И она уже плоховато помнила Баглера. У Ховарда, по крайней мере, голова была такой формы, что захочешь – не забудешь. А вообще, она немало сил потратила, чтобы помнить об этом как можно меньше – чем меньше, тем спокойнее. Вот только мысли не всегда подчинялись ей. Бежит она, скажем, по полю, мечтая об одном – поскорее добраться до колонки и смыть зеленый травяной сок и лепестки ромашек с исхлестанных травой ног. И ни о чем таком не думает. Картина забавлявшихся с ней тогда в амбаре мужчин стала теперь столь же безжизненна, как и ее спина, где нервные окончания утратили чувствительность, а плоть стала похожа на стиральную доску. И даже слабого запаха чернил, или дубовой коры, или вишневой смолки, из которых они делаются, она теперь не ощущает. Вообще ничего. Чувствует только, как ветерок овеивает лицо, пока она спешит к воде и смывает лепестки ромашек и семена трав, смывает тщательно, думая лишь об одном – сама виновата: решила сдуру сократить путь на полмили, а не подумала, как высоки уже травы, и теперь ноги до колен невыносимо чешутся и зудят. И вдруг что-то случается. Плеск воды; башмаки и чулки, брошенные как попало у тропинки; пес Мальчик лакает из лужи у ее ног – и вдруг откуда ни возьмись появляется Милый Дом, надвигается, катится прямо на нее, и вся усадьба раскидывается перед нею во всей своей бесстыдной красоте, хотя каждый листочек там способен заставить ее взвыть во весь голос. С виду усадьба никогда не казалась такой ужасной, какой была на самом деле, и Сэти удивлялась: неужели и ад – тоже место красивое? Ну, там, разумеется, адское пламя, и серой пахнет, и все такое прочее, но только все это спрятано за кружевными стенами пещер. И на ветвях самых прекрасных сикомор в мире – повешенные. Ей стало стыдно: вспомнила удивительной красоты печальные деревья прежде тех парней. И сколько она ни старалась, но сикоморы каждый раз всплывали в памяти прежде парней, и она никак не могла простить себя за это.

Смыв последний лепесток ромашки, Сэти двинулась дальше, к дому, по дороге подобрав чулки и башмаки. И словно для того, чтобы еще сильнее наказать себя за эти воспоминания, сразу заметила, что на крыльце, не более чем в двадцати шагах от нее, сидит Поль Ди, последний из живших когда-то в усадьбе Милый Дом мужчин. И хотя Сэти никогда бы не спутала его лицо ни с одним другим, но она все-таки спросила:

– Это ты?

– Вернее, то, что от меня осталось. – Он встал и улыбнулся ей. – Ну как ты, детка? Вижу, вижу, что босиком идешь.

И когда она вдруг рассмеялась, смех полился свободно и молодо.

– Да мне все ноги травой на лугу исхлестало. Да еще ромашка налипла.

Он сморщился так, словно проглотил полную ложку чего-то горького.

– И не говори! Ужасно, когда ромашка к голым ногам липнет!

Сэти смутилась. Скомкала чулки и сунула их в карман.

– Ну что ж, заходи в дом.

– Хорошо у тебя тут на крыльце, Сэти. Прохладно. – Он снова сел, глядя куда-то за дорогу, на луг – боялся, что глаза выдадут проснувшееся вдруг желание.

– Восемнадцать лет, – проговорила она тихо.

– Восемнадцать, – откликнулся он. – И готов поклясться: все восемнадцать лет я куда-то шел. Можно и мне тоже? – Он кивком показал на ее босые ноги и принялся расшнуровывать ботинки.

– Хочешь ноги вымыть? Давай-ка я тебе тазик с водой принесу. – Теперь она была от него совсем близко.

– Да нет, чего там. Не впервой. Этим ногам еще топать и топать.

– Не можешь же ты уйти прямо сейчас, Поль Ди! Погости хоть немного.

– Ну, по крайней мере, Бэби Сагз-то я повидать должен. Где она, кстати?

– Умерла.

– О Господи, нет! Когда?

– Да теперь уж восемь лет как. Почти девять.

– Тяжело умирала? Хоть бы не тяжело!

Сэти покачала головой.

– Легко. Отошла – словно пенку с молока сдули. Жить ей было куда тяжелее. Жалко, что ты ее не застал. Ты что ж, за этим сюда пришел?

– В том числе и за этим. Но главное – на тебя посмотреть. А если начистоту, то сейчас я готов пойти куда угодно. Куда угодно – лишь бы дали пожить спокойно.

– А ты хорошо выглядишь, Поль Ди.

– Черти напутали: я особенно хорошо выгляжу, когда внутри у меня что-то не то. – Он выразительно посмотрел на нее, и последние слова прозвучали двусмысленно.

Сэти улыбнулась. Вот так они всегда – когда-то давно все они так вели себя. Все мужчины Милого Дома до Халле и после того, как она вышла за него замуж, обращались с ней чуть-чуть насмешливо, по-братски, капельку заигрывая, подтрунивая – не сразу и догадаешься, что за этим стоит.

Поль Ди казался в точности таким, как и тогда, в Кентукки, если не считать копны отросших волос да странного ожидания в глазах. Блестящая, как сланец, черная кожа; спина прямая. Для человека с таким, в общем-то, неподвижным лицом удивительной была его мгновенная готовность улыбнуться, разгневаться, огорчиться с тобой вместе. Словно всего-то и требовалось – привлечь к себе его внимание, и в нем мгновенно возникали те же чувства, что и в тебе. Глазом не успеешь моргнуть, а лицо у него уже совсем другое – словно свои эмоции он хранил очень близко, сразу под кожей.

– Мне ведь не нужно и спрашивать о нем, да? Ведь ты бы сказал мне, если б что-нибудь знал, верно? – Сэти посмотрела на свои босые ноги, и снова перед ней возникли те сикоморы.

– Сказал бы. Конечно, сказал бы. Но я и теперь знаю не больше, чем тогда. – «Если не считать маслобойки, – подумал он, – но тебе-то об этом знать вовсе не нужно». – А ты разве надеешься, что он еще жив?

– Нет. Мне кажется, он умер. И моя вера не помогла б ему выжить.

– А как считала Бэби Сагз?

– Точно так же, да только если ее послушать, так все ее дети непременно умерли. Говорила, что в точности знала день и час, когда каждый из них умирал.

– А когда, по ее словам, умер Халле?

– В тысяча восемьсот пятьдесят пятом. В тот самый день, когда у меня дочка родилась.

– Так ты все-таки родила! Вот уж не думал, что ты с этим справишься! – Он усмехнулся. – Ведь на сносях удрала!

– Пришлось. Ждать-то больше нельзя было. – Она, потупившись, тоже вдруг подумала: а до чего же странно все-таки, что она тогда справилась. Но если б не та девочка, что хотела бархат купить, ничего бы у нее не вышло.

– Неужели все сама, одна? – В голосе его слышались и гордость за нее, и обида. Но все ж таки ему было очень грустно, что ей не понадобилась ничья помощь, ни Халле, ни его самого.

– Почти что сама. Мне тогда одна белая девушка помогла.

– Ну так благослови ее Господь, она и себе помогла.

– Если хочешь, оставайся ночевать, Поль Ди.

– Как-то ты не слишком уверенно это предлагаешь.

Сэти глянула поверх его плеча на закрытую дверь.

– Да нет, что ты! Я от всего сердца, вот только ты уж прости – у нас не прибрано. Входи, входи. Поговори с Денвер, пока я поесть приготавливаю.

Поль Ди связал шнурки ботинок, перекинул их через плечо и прошел следом за Сэти в дом, тут же попав прямо в пятно красного пульсирующего света, словно замкнувшееся вокруг него.

– У вас, я вижу, гости? – прошептал он, остановившись и нахмурившись.

– Случается, – откликнулась Сэти.

– Господи ты Боже мой! – Поль Ди попятился к двери. – Неужто злые духи завелись?

– Нет, этот дух не злой. Скорее грустный. Да входи же. Шагай смелее.

Он внимательно посмотрел на нее. Куда внимательнее, чем в первый раз, когда она вышла из-за дома с голыми, мокрыми, блестящими ногами, неся туфли и чулки в руке, а другой рукой приподняв юбку. Девчонка Халле – та самая, с суровым взглядом и таким твердым характером, какой еще поискать. В Кентукки он никогда не видел ее простоволосой. И хотя сейчас лицо ее стало на восемнадцать лет старше, оно казалось нежнее и мягче. Из-за пышных волос. Лицо у нее было непроницаемое, застывшее и настоящего покоя не сулило; радужки черных глаз того же цвета, что и кожа, из-за чего лицо порой казалось безглазой маской. Женщина Халле. Рожавшая ему каждый год. Она и тогда сидела у огня беременная и говорила ему, что собирается бежать. Своих троих детей она уже отправила на тот берег с другими неграми-беглецами. К матери Халле, что жила в пригороде Цинциннати. Рассказывая ему об этом в крошечной хижине и наклонившись так близко к огню, что чувствовался запах нагретой материи, из которой сшито было ее платье, она смотрела на него, и глаза ее не отражали пламени. Они были точно два бездонных колодца, в которые ему было страшно заглянуть. Ему казалось, что даже если бы глазницы эти действительно были пусты, то все равно их нужно было бы чем-то прикрыть, оградить, поставить отметину, чтобы люди знали о том, что таится за этой опасной пустотой. Так что в глаза он ей не смотрел, а глядел в огонь, и она все рассказывала и рассказывала ему, поскольку мужа ее не было с ними и больше поговорить было не с кем. Мистер Гарнер умер, а у жены его выросла опухоль на горле величиной со сладкую картофелину, и теперь миссис Гарнер ни с кем

общаться не могла. Сэти тогда наклонилась как можно ближе к огню, насколько позволял ее большой живот, и рассказала ему, Полю Ди, последнему из мужчин Милого Дома, о своих планах.

На ферме их было шестеро, и одна женщина – Сэти. Миссис Гарнер плакала как маленькая, когда продавала его брата, чтобы уплатить долги, которые тут же обнаружились, стоило ей овдоветь. А потом явился этот учитель и стал наводить порядок. И погубил еще троих мужчин Милого Дома и навсегда погасил огонь в глазах Сэти, превратив их в два зияющих колодца, в прорези в черной маске, которые даже пламени очага не отражали.

Теперь взгляд ее снова стал суровым, однако лицо казалось мягче из-за обрамлявших его волос, и он поверил ей настолько, что перешагнул порог ее дома, оказавшись в пятне пульсирующего красного света.

Она оказалась права. Это был очень печальный дух. Пройдя сквозь красное пятно, Поль Ди почувствовал, что печаль пропитала его насквозь, ему даже плакать захотелось. Освещенный нормальным светом стол, казалось, был где-то очень далеко, однако он вполне успешно добрался до него – и с сухими глазами.

– Ты же говорила, она умерла легко. Точно пенку с молока сдули, – напомнил он ей с укором.

– Это не Бэби Сагз, – ответила Сэти.

– А кто ж тогда?

– Моя дочь. Та, которую я тогда отослала вперед вместе с мальчиками.

– Так она умерла?

– Да. Последнее, что у меня осталось, – это та девочка, которой я была беременна, когда убежала. Мальчиков тоже больше нет. Оба ушли отсюда еще до того, как Бэби Сагз умерла.

Поль Ди посмотрел туда, где печаль только что пропитала его насквозь. Красный свет погас, но в воздухе еще слышался тихий-тихий плач.

Что ж, может, оно и к лучшему, подумал он. Если у негра есть ноги, так нужно ими пользоваться. Не то, если слишком засидеться, кто-нибудь непременно захочет тебя связать. И все-таки... даже если ее мальчиков в доме нет...

– И ни одного мужчины в семье? Как же ты тут одна?

– Не одна, с Денвер, – возразила она.

– И как вам тут, ничего?

– Нормально.

Заметив в его взгляде сомнение, она прибавила:

– Я работаю поварихой в ресторане, в городе. Да еще немножко шью тайком.

Поль Ди улыбнулся: вспомнил ее свадебную ночную рубашку. Сэти было тринадцать, когда она объявилась в Милом Доме, и взгляд у нее уже тогда был достаточно суровым. Она оказалась просто подарком для миссис Гарнер, только что лишившейся помощи Бэби Сагз во имя высоких принципов своего супруга. Пятеро молодых мужчин Милого Дома глянули на девочку и решили пока оставить ее в покое. Молодость брала свое – они так настрадались от отсутствия женщин, что совокуплялись с телками. И все-таки не стали трогать девочку с суровым взглядом, чтобы она смогла сделать собственный выбор, хотя каждый из них готов был превратить остальных в отбивные, лишь бы завладеть ею. Чтобы выбрать, ей потребовался год – долгий, мучительный год, в течение которого они метались по ночам на своих жалких тюфяках, пожираемые мечтами о ней. Целый год они изнывали от желания, и целый год насилие казалось им единственным даром жизни. Однако вели они себя сдержанно – только потому, что были из Милого Дома и мистер Гарнер вечно хвалился ими перед другими фермерами, а те только головами качали.

– У всех у вас молодые парни есть, – говорил мистер Гарнер. – Молодые, постарше, разборчивые, неряхи. А вот у меня в Милом Доме все негры – настоящие мужчины! Все до одного. Я их купил, я их и вырастил. И каждый из них теперь настоящий мужчина.

– Ты, Гарнер, поосторожней. Не всякого ниггера можно мужчиной назвать.

– Это точно. Если ты их боишься, так и они никогда мужчинами не станут. – Тут Гарнер начинал улыбаться во весь рот. – А вот ежели сам ты настоящий мужчина, так тебе захочется, чтобы и негры твои мужчинами стали.

– Вот уж ни за что не позволил бы, чтоб мою жену одни черные мужики окружали!

Этих слов Гарнер всегда особенно ждал.

– Так ведь и я о том же, – говорил он. И всегда наступала долгая пауза, прежде чем сосед, бродячий торговец, дальний родственник или кто-то еще осознал истинный смысл его слов. Затем следовал жестокий спор, иногда потасовка, и Гарнер приезжал домой в синяках и страшно довольный собой, в очередной раз доказав, что истинный уроженец Кентукки всегда достаточно строг и достаточно умен, чтобы сделать из своих негров настоящих мужчин.

Итак, их было пятеро, чернокожих мужчин Милого Дома: Поль Ди Гарнер, Поль Эф Гарнер, Поль Эй Гарнер, Халле Сагз и Сиксо, дикий человек. Всем около двадцати, и ни одной женщины поблизости, поэтому все они совокуплялись с телками, мечтали о насилии, метались на своих тюфяках в беспокойных снах, расчесывали кожу на бедрах и ждали, что решит новая девушка – та, что заняла место Бэби Сагз, которую Халле выкупил за пять лет работы по выходным. Может быть, именно поэтому она и выбрала Халле. Веский довод в его пользу – не всякий двадцатилетний парень способен так любить мать, чтобы работать без выходных в течение пяти лет только ради того, чтобы старуха получила наконец возможность просто сесть и посидеть спокойно, отдыхая.

Она выжидала год. И мужчины Милого Дома ждали с нею вместе, а между тем забавлялись с телками. Она выбрала Халле, а для первой брачной ночи сама сшила себе тайком нарядную рубашку.

– Может, поживешь немного у нас? Одного-то дня после восемнадцати лет маловато будет, чтоб передохнуть.

Из полутемной комнаты, где они сидели, наверх, на второй этаж, вела белая лестница. Поль Ди видел лишь краешек оклеенной бело-голубыми обоями

стены – на голубом фоне то ли пятнышки, то ли хлопья желтоватого цвета среди белых снежинок. Сверкающая белизна перил и ступенек приковывала взгляд. Чувства его были обострены настолько, что он явственно ощущал в воздухе над лестницей невидимые волшебные чары. Зато девушка, что спускалась по лестнице, казалось, прямо из воздуха, была совершенно земной, пухленькой, темнокожей, с хорошеньким личиком насторожившейся куколки.

Поль Ди посмотрел сперва на девушку, потом на Сэти, которая улыбнулась и пояснила:

– А вот и моя Денвер. Это Поль Ди, детка, из Милого Дома.

– Доброе утро, мистер Ди.

– Гарнер, детка. Поль Ди Гарнер.

– Да, сэр.

– Ну наконец-то я тебя увидел! В последний раз, когда мы виделись с твоей мамой, ты была очень недовольна и всю брыкалась у нее в животе.

– Она и сейчас такая, – улыбнулась Сэти, – особенно если ей позволить залезть на колени.

Денвер стояла на самой нижней ступеньке; ее вдруг обдало волной горячего смущения. Уже давным-давно никто (ни та добрая белая женщина, ни священник, ни представители местной общественности, ни газетчики) не заходили к ним, не сидели у них за столом и не говорили сочувственных слов фальшивыми голосами, что было особенно противно, потому что в глазах у них таилось странное любопытство. Лет двенадцать назад, задолго до того, как умерла бабушка Бэби, к ним перестали заглядывать и бывшие друзья, и просто прохожие. Никто из цветных. А уж этот человек с ореховыми глазами тут и подавно не бывал – да и никто другой, ни с вопросами и записной книжкой, ни с углем, ни с апельсинами на Рождество. А теперь явился, и с ним ее матери явно хотелось общаться; и она даже сочла возможным разговаривать с ним босая. И выглядела при этом – да и вела себя! – совершенно как девчонка; и куда-то вдруг делась та горделиво-спокойная, точно королева, женщина, которую Денвер знала всю свою жизнь. Та, что никогда не отводила глаз! Даже

когда какого-то человека кобыла забила копытами насмерть перед рестораном Сойера. Даже когда свиноматка начала вдруг прямо при них пожирать свой приплод. А когда маленькое привидение, рассердившись, так ударило их пса Мальчика об стену, что сломало ему две лапы и выбило глаз, и, забившись в судорогах, он прикусил язык, мать тоже ничуть не смутилась. Взяла молоток потяжелее, как следует стукнула им Мальчика по голове, чтобы пес потерял сознание, обмыла ему морду, залитую кровью и слюной, вставила обратно выбитый глаз, перевязала перебитые лапы и вложила их в лубки. Пес поправился, но больше не лаял и ходил как-то боком – в основном из-за поврежденного глаза, потому что сломанные лапы срослись нормально, но теперь ни зимой, ни летом, ни в дождь, ни в жару его невозможно было уговорить снова зайти в дом.

И вот эта спокойная разумная женщина, которая способна была справиться со взбесившимся от боли псом, сидит, положив одну босую ногу на другую и покачивает ею в воздухе, а на родную дочь и смотреть не желает! Словно ей это противно. Но главное – и она, и этот мужчина оба босые! Денвер было жарко, стыдно и ужасно одиноко. Все ее всегда покидали – сперва братья, потом бабушка – и это было очень тяжело, потому что никто из детей не хотел с ней играть или висеть головой вниз, уцепившись согнутыми в коленях ногами за перила веранды. Но и это не было так ужасно, как сейчас, когда ее мать беспечно смотрела куда-то в сторону, и у Денвер вдруг возникло желание – да-да, впервые! – чтобы привидение немедленно сотворило что-нибудь злобное.

– Очень милая юная леди. – сказал Поль Ди. – И очень хорошенькая. На отца похожа.

– А вы знали моего отца?

– Знал. Хорошо знал.

– Правда, мам? – Денвер с трудом пыталась побороть недоверие.

– Ну конечно! Я же сказала: он из Милого Дома.

Денвер присела на нижнюю ступеньку лестницы. Собственно, ничего другого не оставалось; нужно же было пристойно выйти из дурацкого положения. Эта парочка все твердила «твой отец» и «Милый Дом» с таким видом,

что становилось ясно: все это принадлежит им, а она здесь ни при чем. Даже ее исчезнувший отец не принадлежит ей. Когда-то его отсутствие больше всего касалось бабушки Бэби – его, единственного из своих сыновей, она горько оплакивала, потому что именно он выкупил ее из рабства. Потом отец стал пропавшим мужем Сэти. Теперь он оказался пропавшим другом этого незнакомца с ореховыми глазами. Значит, только те, кто знал его раньше («знал его хорошо»), имеют право на него отсутствующего? Как имеют право и на воспоминания об этом Милом Доме, могут шептаться о нем и украдкой переглядываться при этом? И снова Денвер захотелось, чтоб явилось привидение и продемонстрировало, на что оно способно во гневе, хотя раньше его выходки и доводили ее до изнеможения.

– У нас здесь привидение живет, – сказала она, и это подействовало. Они больше не казались отдельной от нее дружной парочкой. Мать перестала болтать в воздухе ногой и вести себя как молоденькая девчонка. Пелена воспоминаний о Милом Доме растаяла в глазах того мужчины, для которого она вдруг в эту девчонку превратилась. Он быстро взглянул на ярко-белую лестницу у Денвер за спиной.

– Да, я слышал, – произнес он. – Но печальное, как говорит твоя мама. Не злое.

– Нет, сэр, – сказала Денвер, – не злое. Но и не печальное.

– Какое же тогда?

– Обиженное. Одинокое и обиженное.

– Правда? – Поль Ди повернулся к Сэти.

– Вот не знаю, одинокое ли, – проворчала та. – Может, и обиженное, и даже очень сердитое, да только не понимаю, чего это ему быть таким уж одиноким, если оно нас ни на минуту не оставляет.

– Наверно, что-то получить от вас хочет?

Сэти пожала плечами.

– Это ведь совсем крошка.

– Моя сестра, – сказала Денвер. – Она здесь умерла, в этом доме.

Поль Ди поскреб заросший щетиной подбородок.

– Похоже на ту историю с невестой без головы, что потом вернулась и все бродила в лесочке за Милым Домом. Помнишь, Сэти?

– Разве можно забыть? Ужасно...

– Интересно, почему все вы, кто сбежал из Милого Дома, никак не перестанете говорить о нем? Может, там было так мило, что лучше бы вам было остаться?

– Ты с кем это так разговариваешь, девчонка?

Поль Ди рассмеялся.

– Все верно, верно! Она права, Сэти. Не был он для нас ни милым, ни тем более домом. – Он покачал головой.

– Зато там мы были все вместе! – сказала Сэти. – Вместе. И от этого никуда не уйти, хотим мы того или нет. – Она зябко передернула плечами и погладила их, словно возвращая им покой. – Денвер, – обратилась она к дочери, – разожги-ка плиту. Нельзя же так: старый друг пришел к нам в гости, а мы его даже и не угостили ничем.

– Не стоит беспокоиться на мой счет, – сказал Поль Ди.

– Никакого беспокойства – обычная еда, вот только булочки испеку. А остальное я захватила из ресторана. Уж если топчешься у плиты от зари до зари, то обед-то, по крайней мере, домой принести можно? Ты против щуки ничего не имеешь?

– Если она ничего не имеет против меня, – улыбнулся Поль Ди.

Ну вот, опять начинается, подумала Денвер. Повернувшись к ним спиной, она затолкала в печку растопку. Напихала слишком много и чуть не потушила занявшийся было огонь.

– А почему бы вам заодно и не переночевать у нас, мистер Гарнер? Тогда вы с мамой могли бы всю ночь напролет говорить о Милом Доме.

Сэти сделала два быстрых шага к плите, но не успела она схватить Денвер за воротник, как девушка вдруг опустила голову и расплакалась.

– Да что с тобой такое? Никогда не видела, чтобы ты так себя вела!

– Да ладно, – сказал Поль Ди. – Я ведь ей совсем чужой.

– Тем более. Разве можно так вести себя с чужим человеком. В чем дело, детка? Случилось что?

Но Денвер уже рыдала так, что не могла вымолвить ни слова. Она не пролила за девять лет ни слезинки, но теперь слезы лились рекой и промочили насквозь платье на ее весьма пышной и вполне уже женской груди.

– Я больше не могу! Не могу!

– Что – не можешь? Чего это ты не можешь?

– Не могу жить здесь. Я не знаю, куда мне пойти и что нужно сделать, но здесь я оставаться больше не могу. Никто с нами не разговаривает. Никто к нам не заходит. Парням я не нравлюсь. Девушкам тоже.

– Милая моя девочка...

– Что это она говорит насчет того, что «никто с вами не разговаривает»? – спросил Поль Ди.

– Это все из-за дома. Люди не...

– Нет, не из-за дома! Это из-за нас! Из-за тебя!

– Денвер!

– Не надо, Сэти. Конечно, молодой девушке тяжело жить в доме, где обитают духи. Всякому было бы нелегко.

– Куда легче, чем многое другое.

– Слушай, Сэти, вот я, взрослый мужчина, все на свете видел и испытал, но я уверен, что с духами жить любому трудно. А может, вам лучше переехать отсюда? Кому он принадлежит, этот дом?

Сэти метнула на Поля Ди ледяной взгляд поверх плеча Денвер:

– А тебе не все равно?

– Они что ж, не позволяют вам выехать?

– Нет.

– Сэти!

– Нет. И слышать не желаю. Никаких переездов! Никаких! Все и так совершенно нормально.

– Считаешь, что все нормально, когда твоя дочка с ума сходит?

Что-то в доме насторожилось, затихло тревожно, и в наступившей напряженной тишине Сэти отчетливо проговорила:

– У меня на спине дерево; в доме моем привидение, и между мной и им – только моя дочь, которую я сейчас в объятиях держу. Я никуда больше не побегу – ни от кого. И ни от чего на свете. Я уже одно бегство совершила и расплатилась за него сполна, но вот что я скажу тебе, Поль Ди: слишком дорогой была та цена! Слышишь? Слишком дорогой. А теперь, если хочешь, садись вместе с нами

за стол – или уходи и оставь нас в покое.

Поль Ди, не отвечая, порылся в кармане и вытащил кисет – как бы полностью сосредоточившись на затянувшейся в узел тесемке, а Сэти тем временем отвела Денвер в гостиную, соседнюю с той большой комнатой, где он сидел. Бумаги для курева у него все равно не было, однако он продолжал возиться с кисетом, прислушиваясь через открытую дверь к тому, как Сэти успокаивает дочь. Когда она вернулась, то, не глядя на него, прошла прямо к маленькому столику возле плиты и повернулась к нему спиной. Теперь он мог сколько угодно, не отвлекаясь, разглядывать ее замечательные волосы.

– Что это еще за дерево у тебя на спине?

– Уф. – Сэти поставила на стол тяжелую миску и снова нагнулась – за мукой.

– Я спрашиваю, что это за дерево у тебя на спине? У тебя что, на спине что-нибудь выросло? Я ничего такого не вижу.

– И все равно оно там.

– Да кто тебе такое сказал?

– Одна белая девушка. Так она это назвала. Сама-то я никогда его не видела и не увижу. Но она так сказала: похоже, мол, на деревце. На вишневое деревце. Ствол, ветки и даже листочки. Маленькие вишневые листочки. Только было это восемнадцать лет назад. Теперь-то уж небось и вишни поспели, откуда мне знать.

Сэти легонько облизнула указательный палец и быстро коснулась им плиты, пробуя, насколько она нагрелась. Потом просеяла муку сквозь пальцы, разделяя ее на кучки, на маленькие холмики в поисках клещей. Ничего не обнаружив, она насыпала чуточку соды и соли в сложенную горсткой ладонь и смешала все это с мукой. Потом достала жестянку с топленным свиным жиром, зачерпнула оттуда полгорсти и ловко растерла муку с жиром, левой рукой сбрызнув все это водой. Потом замесила густое тесто.

– У меня еще было полно молока, – проговорила она вдруг. – Я была беременна Денвер, но для моей малышки молока у меня хватало, и я не переставала кормить ее до того самого дня, как отослала ее к Бэби Сагз вместе с Ховардом и Баглером. – Сэти принялась формовать булочки с помощью деревянной лопатки. – Каждый мог за версту учуять запах моего молока – чего там, вечно у меня на груди были пятна, всем в глаза бросались, да только я ничего не могла с этим поделать. Ну да все равно. Я непременно должна была доставить малышке молоко. Никто ведь не собирался делиться с ней своим молоком. Никто не знал, когда ее нужно кормить и сколько ей нужно, а сама она не могла об этом сказать. Никто не знал, что у девочки не могут отойти газы, если ее все время держать на плече – они у нее отходили, только когда она плашмя лежала у меня на коленях. Никто ничего этого не знал, кроме меня, и ни у кого не было для нее молока, кроме как у меня. Я сказала об этом тем женщинам в поезде. Попросила их свернуть тряпочку в узелок, намочить в подсахаренной воде и давать ей сосать, чтобы за те несколько дней, пока я доберусь туда, она меня не забыла. Ничего, я бы поспела вовремя – и с молоком для нее.

– Мужчины, конечно, об этом толком не ведают, – сказал Поль Ди, засовывая кисет обратно в карман, – да только всем ясно, что нельзя грудного младенца надолго от матери отрывать.

– А может, им ясно и то, каково это отрывать от себя ребенка, когда груди твои полны молока?

– Мы ведь с тобой о дереве толковали, Сэти!

– После того, как я ушла от тебя к себе, явились те парни и отняли мое молоко. Они именно за этим и пришли. Повалили меня, держали и отняли молоко. Я про них наядбедничала миссис Гарнер. Из-за этой своей опухоли она говорить не могла, но слезы у нее из глаз так и катились. Ну а эти парни прознали, что я нажаловалась. И тогда учитель велел одному из них заголить мне спину и располосовать ее так, что вышло вроде как дерево. Оно и сейчас там растет.

– Они тебя плетью из воловьей кожи избили?

– И отняли мое молоко.

– Они тебя плетью избили? Беременную?

– И отняли мое молоко!

Пышные белые кругляшки теста ровными рядами ложились на противень. Сэти снова коснулась плиты влажным кончиком пальца. Потом открыла дверцу духовки и сунула туда противень с булочками. Закрыв дверцу и распрямившись, она почувствовала, что Поль Ди подошел к ней сзади и обнял; ладони его были у нее под грудью. Она уже поняла, хоть и не могла этого почувствовать, что щекой он прижался к ветвям вишневого деревца, высеченного у нее на спине.

Не сделав в своей жизни ровным счетом ничего для этого, он почему-то стал тем человеком, в присутствии которого, стоило ему войти в дом, женщины начинали плакать. Потому что перед ним могли это делать. Видно, что-то такое было в нем благословенное. Женщины, видевшие его впервые, начинали плакать и рассказывать ему, как болит у них грудь и колени. Даже самые сильные и мудрые рассказывали ему то, что могли сказать только друг другу: о том, что происходит в них со временем; каким сильным становится вдруг желание, стремление к плотской любви – неукротимое, жадное, дикое – и куда сильнее, чем в пятнадцать лет; о том, как это смущает их и печалит; о том, что втайне они мечтают умереть – чтобы навсегда покончить с этим позорным вожделением; и что сон и покой им куда дороже каждого нового дня жизни. А юные девушки украдкой признавались ему, какие яркие и постыдные сны видят порой и как долго живы потом ощущения от них. И поэтому, даже не зная истинной причины, Поль Ди не был удивлен, когда Денвер начала ронять слезы в очаг. Или когда, через четверть часа, рассказав ему об отнятом у нее молоке, ее мать тоже заплакала. Подойдя к ней сзади, изогнувшись над ней полной добра радугой, он поддерживал ее груди ладонями. Он терся щекой о ее спину, ощущая случившуюся с ней беду, ее истоки, ее корни, ее толстый ствол и прихотливо переплетенные ветви. Скользя пальцами по крючкам на ее платье, он уже знал, не видя, что вскоре польются слезы. А когда лиф платья упал и обернулся вокруг ее бедер, и Поль Ди увидел то, что было изображено – выковано? вырезано? – у нее на спине, словно одержимый неведомой страстью кузнец-мечтатель создал этот прихотливый барельеф и теперь стыдится выставлять его на всеобщее обозрение, он смог только подумать (но не сказал этого вслух): «О Господи, детка!» И не было ему покоя, пока он не дотронулся до каждого неровного шрама, до каждого листочка этого небывалого дерева своими губами; ни одного из этих прикосновений Сэти почувствовать не могла, ибо кожа у нее на спине омертвела, полностью утратила чувствительность много лет назад. Но она знала одно: теперь – наконец-то! – груди ее покоятся

в чьих-то надежных руках.

Неужели нельзя освободить хоть немного места, хоть чуточку времени в этой слишком богатой событиями жизни, думала Сэти, неужели нет хоть какого-нибудь способа сдержать ее неустанный бег, забыть на минутку о постоянной занятости и просто постоять немножко вот так, обнаженной и свободной от плеч до талии, когда груди твои покоятся в чьих-то надежных руках, и вновь ощутить запах украденного у нее материнского молока и замечательный аромат пекущегося хлеба? Может быть, на этот раз, застыв как мертвая у кухонной плиты, она сумеет наконец почувствовать ту боль, которую должна была бы чувствовать в своей спине? Чему-то поверить и что-то вспомнить, потому что последний из мужчин Милого Дома сейчас рядом и готов немедленно подхватить ее, если от этих мыслей она потеряет сознание?

Плита, нагревшись, перестала потрескивать. Денвер в соседней комнате совсем притихла. Пятно пульсирующего красного света не возвращалось, а Поль Ди дрожал так, как не дрожал с 1856 года, когда дрожь била его восемьдесят три дня подряд. Запертый в ужасной норе и закованный в кандалы, он тогда трясся так, что не мог даже закурить или просто почесаться. Сейчас, правда, у него дрожали в основном ноги. Ему потребовалось некоторое время, чтобы догадаться, что ноги у него дрожат не от нервного возбуждения, а от того, что под ним колышутся доски пола; дом что-то пережевывал, скрежетал и раскачивался. Весь. Сэти беспомощно соскользнула на пол, пытаясь снова влезть в верхнюю часть платья и одновременно удержать собственный дом на месте. Так, на четвереньках, ее и увидела Денвер, вылетевшая из гостиной – в глазах ужас, на губах неясная улыбка.

– Черт побери! Да успокойтесь вы! – кричал Поль Ди, падая и стараясь за что-нибудь уцепиться. – А ну убирайся из этого дома! Убирайся к чертовой матери! – Кухонный стол тут же бросился на него в атаку, но он схватил его за ножку. Наконец Полю Ди удалось подняться, и он, так и не сумев выпрямиться до конца, поднял столик за две ножки и с размаху стал бить им куда попало, круша все подряд и яростно крича бушующему дому: – Хочешь драться со мной? Давай! Выходи! Черт тебя побери! Ей и без тебя за десятерых досталось. Хватит!

Чудовищная дрожь, сотрясавшая дом, почти прекратилась, и он лишь иногда передергивался и пошатывался, но Поль Ди продолжал орудовать кухонным столом, пока все предметы не застыли в абсолютном покое. Весь в поту, тяжело дыша, Поль Ди прислонился к стене в том месте, где раньше стоял буфет. Сэти

так и лежала, скрючившись возле плиты, и прижимала к груди спасенные башмаки. Все трое, Сэти, Денвер и Поль Ди, дышали в такт, словно одно усталое существо. И явственно слышалось еще чье-то дыхание, тоже очень усталое.

Оно исчезло. Дом умолк. В воцарившейся тишине Денвер приблизилась к плите. Поворошила головешки, вытащила из духовки противень с булочками. Варенье из банки куском студня лежало среди осколков и мусора в углу нижнего отделения буфета. Денвер вытащила другую банку с вареньем и, поискав глазами тарелку, обнаружила половинку одной возле самой двери. Булочки, варенье и половинку тарелки она вынесла на крыльцо и присела там на ступеньку.

А эти двое ушли наверх. Босиком, ступая легко и неслышно, они поднялись по белым ступеням, оставив ее, Денвер, внизу. Одну. Она распечатала банку, сняла тряпочку и удалила тонкий слой воска. Потом встряхнула варенье на краешек разбитой тарелки, взяла булочку и отломилась чуть подгоревшую корочку. Из белой серединки колечками потянулся парок.

Она очень скучала по своим. Баглеру и Ховарду сейчас должно было бы исполниться двадцать два и двадцать три. Хотя они обычно ее не обижали и всегда уступали ей любимое место в изголовье кровати, она отлично помнила и то, как они, усевшись с ней на белых ступеньках лестницы – кто-нибудь, Баглер или Ховард, зажимал ее между коленями, не давая уйти, – наслаждались, заставляя ее слушать страшные-престрашные (замри, ведьма!) истории, применяя давно испробованный и безотказный способ напугать ее до смерти. И Бэби Сагз тоже о многом рассказывала ей, лежа в гостиной. Днем бабушка пахла древесной корой, а ночью – листвой. Денвер хорошо это знала, потому что отказывалась спать в своей прежней комнате с тех пор, как убежали ее братья.

А теперь ее мать поднялась наверх с мужчиной, который только что прогнал из дому единственное существо, заменившее ей друга. Денвер обмакнула кусочек булки в варенье и медленно, методично, с совершенно несчастным видом принялась жевать.

* * *

Не то чтобы поспешно, но и не теряя времени даром, Сэти и Поль Ди взобрались по белой лестнице на второй этаж. Ошеломленный свалившимся на него счастьем, тем, что отыскал ее дом и ее в нем, а также – тем, что сейчас они совершенно определенно будут заниматься любовью, Поль Ди решил выбросить последние двадцать пять лет жизни из своей памяти. На одну ступеньку впереди него шла та, что некогда сменила Бэби Сагз на ее посту, та самая новая девушка, о которой они мучительно мечтали ночами, ожидая, пока она сделает выбор. Он всего лишь поцеловал ее в словно покрытую сварными швами спину, однако это потрясло весь дом, а его заставило разнести здесь все вдребезг. Что ж, теперь он совершит нечто большее.

Она вела его вверх по лестнице, туда, где свет, казалось, падал прямо с небес, потому что окна на втором этаже были сделаны в наклонном потолке, а не в стенах. Там были две комнаты, и она провела его в одну из них, надеясь, что он не станет возражать против того, что она не готовилась к этому событию специально; что хотя она и сумела вспомнить, что такое желание, но совсем позабыла, как оно действует на человека: руки точно сведены судорогой и беспомощны и нападает странная слепота – единственное, что видишь сразу – это место, где можно лечь, а остальное – дверные ручки, всякие тесемки, крючки, та печаль, что таится в углах дома, быстротечное время – лишь помехи для главного.

Все было кончено еще до того, как они успели сорвать с себя одежду. Полуобнаженные, задыхаясь, они лежали рядом, испытывая отвращение друг к другу и к тому свету, что лился на них прямо с небес. Он слишком долго мечтал о ней, и вообще – все это было слишком давно. Ей же мечтания теперь не были свойственны совсем, и они оба испытывали разочарование и смущение, не решаясь заговорить друг с другом.

Сэти лежала на спине, отвернув от него лицо. Краешком глаза Поль Ди видел плавную линию ее груди и не испытывал ни малейшего удовольствия: он определенно мог бы обойтись и без этих больших, округлых, чуть обвисших и плосковатых грудей, а ведь там, внизу, он принял их в руки как самую большую драгоценность. И загадочный лабиринт страшных рубцов у нее на спине, который он исследовал на кухне с жадностью золотоискателя, наткнувшегося на богатую жилу, оказался на самом деле сплетением отвратительных шрамов. Никакое это было не дерево. Может, немного и похоже, да только ничего общего с теми деревьями, которые он хорошо знал, ибо деревья всегда манили его к себе; деревьям можно было доверять, можно

было открыть им душу, поговорить с ними, как он это часто и делал еще в Милом Доме, когда после обеденного перерыва возвращался в поля. Он всегда останавливался передохнуть по возможности в одном и том же месте, и выбрать это место оказалось нелегко, потому что вокруг Милого Дома росло куда больше прекрасных деревьев, чем на любой другой здешней ферме. Выбранное им дерево он назвал Братцем и часто сидел под ним, иногда один, иногда с Халле или с кем-то из Полей, но чаще всего с Сиксо, который тогда был очень тихий и кроткий и пока еще разговаривал по-английски. Иссиня-черный, с ярко-красным языком, Сиксо вечно экспериментировал с заготовленной с ночи картошкой, пытаясь непременно уложить ее так, чтобы дымящиеся от жара камни оказались на самом дне ямки, сверху картошка, а потом всякие прутики и веточки, чтобы к обеденному перерыву, когда они соберут стадо в поле и придут к Братцу, картошка была бы в самый раз. Он мог ради этого, например, встать среди ночи и специально отправиться туда, в такую даль, чтобы выкопать в земле ямку при свете звезд; а иногда он пробовал не слишком сильно нагревать камни и клал на них картошку, предназначенную для дневной трапезы, сразу после завтрака. Картошка никогда не получалась у него так, как он хотел, но они все равно съедали ее – недопеченную, подгоревшую, пересушенную или почти сырую, смеясь, сплевывая шелуху и давая Сиксо разные советы.

Время никак не желало подчиняться расчетам Сиксо, и совладать он с ним не мог. Однажды он, с точностью до минуты рассчитал тридцатимильный поход на свидание с женщиной. Вышел в субботу, когда луна была как раз там, где и требовалось, добрался до хижины своей возлюбленной еще до того, как в церкви зазвонили к обедне, и ему как раз хватило времени, чтобы поздороваться с ней и тут же отправиться назад, чтобы успеть к утренней перекличке в понедельник. Он шел пешком семнадцать часов, потом посидел у нее ровно час и прошагал еще семнадцать часов в обратном направлении. Весь день Халле и все остальные старательно скрывали от мистера Гарнера, как Сиксо измотан. В тот день они, разумеется, никакой картошки не ели – ни простой, ни сладкой. Вытянувшись под Братцем, спрятав от них ярко-красный язык и иссиня-черное лицо, Сиксо весь обеденный перерыв проспал как мертвый. Вот это был настоящий мужчина, и это было настоящее дерево! Да и то «дерево», что лежало с ним рядом в постели, тоже оказалось ненастоящим.

Поль Ди посмотрел в окно над изножьем кровати и закинул руки за голову. При этом его локоть коснулся плеча Сэти. Она вздрогнула от прикосновения грубой материи к голому плечу. Сэти и забыла, что он так и не успел снять

рубашку. Собака, подумала она, и тут же вспомнила, что сама помешала ему. И что сама тоже не успела снять нижнюю юбку, а ведь она-то начала раздеваться еще до того, как увидела его на веранде, – уже тогда Сэти сняла и чулки, и башмаки, да так и несла их в руках, пока он не посмотрел на ее босые ноги и не попросил разрешения тоже разуться. А потом, когда она стряпала у плиты, он еще больше ее раздел. Так что, если учесть, как скоро они вообще принялись раздеваться, то теперь-то уж должны были бы быть совершенно нагими. Впрочем, возможно, Бэби Сагз была права, когда говаривала: «Мужчина – это всего лишь мужчина и ничего больше». Они просят тебя передать им какую-то часть твоего бремени, но стоит тебе ощутить, как приятно и легко тебе стало, как они начинают всматриваться в твои шрамы и оценивать твои беды, а потом делают то, что этот вот уже сделал: выгнал ее детей из дому и разнес здесь все вдребезг.

Нет, просто необходимо встать и уйти отсюда, спуститься вниз и поскорее снова собрать все по кускам. Этот дом, сказал он, ей нужно сменить, словно дом – это какая-то мелочь, блузка или корзинка с нитками, словно от дома можно запросто отвернуться и уйти. И такое он посоветовал ей, у которой никогда не было своего дома – кроме вот этого; которая бросила свою хижину с земляным полом ради того, чтобы оказаться здесь; которая каждое утро непременно приносила с собой на кухню в доме мистера Гарнера букетик козлобородника – чтобы, работая там, хоть немножечко чувствовать, что это место принадлежит ей, потому что ей хотелось любить свою работу, хотелось чувствовать себя на кухне уютно, уверенно; и для этого ей требовалось сорвать по дороге какой-нибудь хорошенький цветок и прихватить с собой. В те дни, когда она забывала это сделать, масло у нее не желало сбиваться, рассол в бочке оказывался слишком крепким, и все руки покрывались волдырями.

По крайней мере, она тогда считала, что все дело в этом. Несколько желтых цветочков на столе, пучок миртовых веточек, торчащих из утюга, придвинутого к открытой двери, чтобы пропускать в дом свежий ветерок, – все это действовало на нее благотворно, и когда они с миссис Гарнер усаживались перебирать щетину или готовить чернила, она чувствовала себя прекрасно. Просто прекрасно. И совсем не боялась тех мужчин. Тех пятерых, что спали в лачугах неподалеку, но к ней никогда ночью не заходили. Только приподнимали обтрепанные шляпы, завидев ее, и не сводили с нее глаз. Когда она приносила им в поле еду, копченую грудинку и хлеб в чистой тряпице, они никогда ничего не брали прямо у нее из рук. Отступали и ждали, пока она положит сверток на землю, у корней дерева, и уйдет. Они не только не желали брать еду у нее из рук, но и не позволяли ей смотреть, как они едят. Раз два-

три она припозднилась. Спряталась за жимолостью и наблюдала за ними. Без нее они были совсем другими – смеялись, подшучивали друг над другом, пели, отходили в сторонку, чтобы помочиться. Посмеяться любили все, кроме Сиксо, который засмеялся только один раз в жизни – в самом ее конце. Лучшим из них, конечно же, был Халле. Восьмой и последний ребенок Бэби Сагз, который брался за любую работу на соседних фермах, чтобы выкупить мать и отправить подальше от Милого Дома. Но и он тоже, как оказалось, был не более чем мужчиной.

– Мужчина – всего лишь мужчина, – говорила Бэби Сагз. – А вот сын – это и правда кое-что!

И справедливо это было по множеству причин: в течение всей своей жизни Бэби, как, впрочем, позже и Сэти, ощущала, что ею и другими мужчинами и женщинами манипулируют, как при игре в шашки. Все, кого Бэби Сагз знала, не говоря уж о тех, кого она любила, – если им не удалось убежать или их не повесили, – могли быть сданы внаем, отданы другому хозяину в уплату долга, проданы, выкуплены, выставлены на продажу, заложены, выиграны в карты, украдены или конфискованы. Именно поэтому у восьмерых детей Бэби было шестеро отцов. То, что она называла «паскудством жизни», стало для нее особенно отвратительным, когда она уяснила, что никто не собирается переставать передвигать «шашки» по доске из-за того, что в игру включены теперь и ее дети. Халле она сумела удержать при себе дольше всех остальных. Двадцать лет. Целую жизнь. Его отдали ей – явно в виде компенсации, – когда она узнала, что две ее девочки, у которых еще молочные зубки не выпали, проданы и уже увезены. Она даже не смогла помахать им рукой на прощанье. Когда-то, тоже в качестве компенсации, ее хозяин, жалкий тип, который целых четыре месяца развлекался с ней как хотел, позволил ей оставить при себе третьего сынишку – а потом, следующей весной, мальчика продали в уплату за пиломатериалы, а она оказалась беременной от этого негодяя, пообещавшего, что мальчика не продаст, но все-таки продавшего. Ребенка от этого человека она любить не могла, а остальных – не позволяла себе. «Господь сам возьмет то, что захочет», – говорила она. И Он брал, Он брал, и брал, и брал, но потом все-таки дал ей Халле, который подарил ей свободу, тогда уже почти не имевшую для нее значения.

Сэти как раз на удивление повезло – она получила целых шесть лет замужней жизни с Халле, который действительно «был кое-чем» – он был сыном Бэби Сагз и отцом всех ее детей. Этой Божьей милости она безоговорочно и довольно

беспечно поверила, приняв ее как должное; сочла Милый Дом своим убежищем, словно это действительно могло быть так. Словно пучок миртовых веточек, сунутых в уют, подпирающий дверь на кухне господского дома, способен был превратить этот дом в ее собственный. Словно листочек мяты, взятый в рот, меняет все у тебя внутри, а не только придает аромат твоему дыханию. Да, большей дуры, чем она, на всем свете не сыскать!

Сэти хотела было перевернуться на живот, но передумала. Она опасалась вновь привлечь к себе внимание Поля Ди, так что удовлетворилась тем, что скрестила поудобнее ноги.

Однако Поль Ди заметил и это ее движение, и то, что она стала дышать иначе. Он чувствовал себя обязанным попробовать еще раз и действовать медленнее и спокойнее, но жгучее желание куда-то пропало. На самом деле было даже приятно – не желать ее. Двадцать пять лет – и одно мимолетное мгновение! Вот так же получилось тогда и у Сиксо, когда он все подготовил для свидания с Патси, женщиной с тридцатой мили. Ему потребовалось три месяца и два похода – по тридцать четыре мили туда и тридцать четыре мили обратно, – чтобы исполнить задуманное. Чтобы убедить ее пройти ему навстречу всего одну треть этого долгого пути до заброшенной каменной постройки, которую он отыскал. Когда-то давным-давно в ней жили краснокожие, тогда еще считавшие, что вся эта земля принадлежит им. Сиксо обнаружил заброшенное строение во время одной из своих ночных вылазок и вежливо попросил разрешения войти. Войдя, он почувствовал то, что и полагается чувствовать в таких случаях, и спросил у духов некогда обитавших здесь краснокожих, можно ли ему привести сюда свою женщину. Духи не возражали, так что Сиксо самым тщательным образом разъяснил подружке, как туда попасть, где свернуть и каким свистом он позовет ее, а каким предупредит об опасности. Поскольку ни он, ни она не могли отлучаться со своих ферм без разрешения и поскольку той женщине с тридцатой мили уже миновало четырнадцать и ее собрались отдать другому мужчине, опасность была и в самом деле велика. Когда Сиксо прибыл в условленное место, Патси там не оказалось. Он посвистел, но безрезультатно. Заглянув в заброшенный индейский дом, не обнаружил ее и там. Он снова вернулся туда, где они договорились встретиться. Никого. Он еще подождал. Она не появлялась. Он совсем перепугался и двинулся по дороге ей навстречу, прошел три или четыре мили и остановился. Идти дальше было совершенно бессмысленно. Он стоял на ветру и молил о помощи, вслушиваясь в каждый звук. И тут услышал слабое хныканье. Он свернул с дороги, немного прошел на этот плач, подождал и, снова услышав его, потерял всякую осторожность: он громко окликнул ее по имени. Она ответила, и голос ее

прозвучал для него, как сама жизнь – не как смерть. «Не сходи с места! – крикнул он ей. – Не бойся. Сейчас я тебя отыщу». И отыскал. Она была уверена, что пришла туда, куда нужно, и плакала, считая, будто он не сдержал обещания. Однако теперь идти в индейское каменное жилище было слишком поздно, так что они занялись любовью прямо там, где стояли. Потом он до крови проколол ей кожу на лодыжке, как если бы ее укусила змея – чтобы ей было что сказать по поводу своего опоздания на табачную плантацию, где она собирала с листьев гусениц. Он очень подробно рассказал ей, как срезать путь, если идти вдоль ручья, и немного проводил ее. Когда он выбрался на дорогу, было уже совсем светло, а он так и не успел одеться и нес свою одежду в руках. Вдруг из-за поворота прямо на него выкатилась повозка. Возница с расширившимися от изумления глазами замахнулся кнутом, а сидевшая рядом с ним женщина стыдливо прикрыла лицо. Но Сиксо нырнул в лес прежде, чем кнут успел полоснуть по его иссиня-черной голой заднице.

Он рассказывал об этом Полю Эф, Халле, Полю Эй и Полю Ди так забавно, что они стонали от хохота. А еще Сиксо ходил по ночам в лесную чащу. Танцевать, говорил он, и тем самым поддерживать связь с предками. И всегда совершал это в полном одиночестве, тайком. Никто из них никогда не видел этих его танцев, но когда они представляли их себе, то всегда смеялись – при свете дня, разумеется, когда смеяться над такими вещами безопасно.

Но все это было еще до того, как Сиксо перестал говорить по-английски, потому что «не видел в этом смысла». Благодаря женщине с тридцатой мили Сиксо был единственным среди них, кто не очумел от желания заполучить Сэти. Нет ничего лучше, чем заниматься с нею любовью, воображал себе Поль Ди и думал так целых двадцать пять лет. Он улыбнулся своей былой мальчишеской наивности и повернулся на бок, к ней лицом. Глаза Сэти были закрыты, волосы в страшнейшем беспорядке. Если смотреть на нее такую, да еще когда ее блестящие глаза закрыты, лицо ее вовсе не кажется таким уж привлекательным. Значит, именно ее глаза держали их обоих в напряжении и разжигали в нем страсть. Если бы не было этих глаз, он вполне справился бы с собой – лицо ее без них сразу становится довольно заурядным. Может быть, если она так и не откроет их... Но нет, оставался еще ее рот. Красивый. Прелестный. Халле никогда не понимал, какое сокровище ему досталось!

Даже с закрытыми глазами Сэти знала, что он смотрит на нее, и та фотография в газете, по которой она поняла, как ужасно может порой выглядеть, вновь возникла у нее в памяти. Но он смотрел на нее вовсе не насмешливо. Нежно.

Нежно и словно бы выжидающе. Он ее не судил – или, точнее, судил, но ни с кем не сравнивал. Никогда со времен их совместной жизни с Халле ни один мужчина не смотрел на нее так: не любовно, не страстно, а заинтересованно, словно рассматривая початок кукурузы с точки зрения его качества. Халле вел себя с ней скорее как брат, чем как муж. Он заботился о ней именно как о члене семьи, а вовсе не доказывал, что он – мужчина, а она – его собственность. В течение нескольких лет они только по воскресеньям видели друг друга при свете дня. Всю остальную неделю они встречались, разговаривали, ласкали друг друга и ели в темноте. В предрассветных сумерках или во тьме позднего вечера. Так что рассмотреть друг друга как следует, внимательно, с удовольствием позволяли себе только воскресным утром, и Халле изучал ее так, словно запасался тем, что видит при солнечном свете, на всю неделю. А времени на это у него было так мало! Вечерами, после целого дня работы на ферме Милый Дом, и еще по воскресеньям после обеда он отрабатывал свой долг за мать. Когда он попросил Сэти стать его женой, она с радостью согласилась, а потом задумалась о том, каким должен быть следующий шаг. Ведь должно же быть какое-то торжество, верно? Священник, танцы, угощение – что-нибудь такое. Из женщин на ферме были только она да миссис Гарнер, так что Сэти решила спросить у хозяйки:

– Мы с Халле хотим пожениться, миссис Гарнер.

– Да, я слышала. – Она улыбнулась. – Он говорил мистеру Гарнеру. А что, ты ребенка ждешь?

– Нет, мэм.

– Ну что ж, это быстро делается. Ты ведь знаешь, о чем я, правда?

– Да, мэм.

– Халле – парень очень хороший, Сэти. Он будет добр к тебе.

– И все-таки, мэм, мы хотим пожениться!

– Да-да, ты ведь уже это сказала. И я ответила: хорошо.

– А свадьба будет?

Миссис Гарнер положила ложку. С улыбкой коснулась волос Сэти и сказала:

– Милая ты моя девочка.

И больше ни слова.

Сэти тайком сшила себе свадебное платье, а Халле повесил свой аркан на гвоздь в ее каморке. И там, на тюфяке, что лежал прямо на земляном полу, они любили друг друга в третий раз; первые два были на кукурузном поле – это небольшое поле мистер Гарнер засеивал кукурузой специально, потому что ее ели не только животные, но и люди. И Халле, и Сэти были уверены, что там их никто не увидит. Нырнув в гущу кукурузных стеблей, сами они не видели ничего, только верхушки кукурузы, что раскачивались у них над головами... и это было видно каждому.

Сэти улыбнулась, вспомнив, какими они с Халле были тогда глупыми. Даже вороны сразу все поняли и явились посмотреть. Она снова вытянула ноги и постаралась не рассмеяться вслух.

Резкий переход от забав с телками к любви с настоящей девушкой, думал Поль Ди, оказался вовсе не таким уж впечатляющим. Во всяком случае, прыжка над пропастью для этого не потребовалось, как считал Халле. Но то, что Халле впервые взял Сэти в кукурузе, а не в хижине, находившейся в двух шагах от хижин остальных негров, которые проиграли в этом соревновании, было проявлением его нежной заботы. Халле хотел, чтобы для Сэти это было таинством, а устроил, не ведая о том, публичное представление. Разве можно не заметить, как в безветренный безоблачный день качаются метелки на кукурузном поле? Поль Ди, Сиксо и два других Поля сидели под Братцем и поливали себе головы водой из кувшина, но и сквозь текущую по лицу холодную колодезную воду видели, как прямо перед ними качаются метелки кукурузы. Ох, и тяжело же это было, сидеть в невыносимом напряжении, сгорая от желания, и видеть, как под полуденным солнцем танцуют метелки на кукурузном поле. А вода, что охлаждала их головы и проясняла мысли, делала это зрелище еще нестерпимее.

Поль Ди вздохнул и перевернулся на другой бок. Сэти воспользовалась этим и тоже пошевелилась. Глядя на спину Поля Ди, она вспомнила те кукурузные стебли, что сломались и согнулись над спиной Халле, и пальцы свои, которые цеплялись за все, что попадалось, и наконец вцепились в початки, обрывая листовую оболочку и шелковистые метелки.

Ах, как нежны были эти шелковистые метелки! Как сочны початки!

Ревнивое возбуждение видевших танцующие метелки мужчин потом еще возросло благодаря тому пиршеству, которое они устроили в ту ночь из молодых початков, сорванных с тех самых поломанных стеблей. Мистер Гарнер был уверен позже, что на поле побывали еноты. Поль Эф свои початки хотел поджарить; Поль Эй – сварить, и теперь Поль Ди уже не мог вспомнить, как же они все-таки приготовили эту кукурузу, которая еще и молочной-то зрелости не достигла. Но вот что он помнил отчетливо: как они осторожно очищали початки от шелковистых волосков, стараясь не повредить ногтями ни одного зернышка.

Срывание с початка его тугой листовой оболочкой, сам этот звук всегда заставлял Сэти думать, что ему больно.

Но стоило содрать первый листок, как все остальные снимались легко, и обнаженные, беззащитные зернышки представали перед глазами ряд за рядом. Ах, как нежны были эти шелковистые метелки! Как напоены соком заключенные в зеленую темницу зерна!

И не важно, что ты перепачкал весь рот и пальцы; разве можно принимать это в расчет, когда испытываешь столь простую и сильную радость.

Ах, как мягки, как нежны были эти шелковистые метелки! Такие пышные и свободные!

* * *

Все «секреты» у Денвер были душистые. Она всегда перекладывала свои драгоценности дикой вероникой, пока не открыла для себя такую замечательную вещь, как одеколон. Первый флакон ей подарили, второй она

стацила у матери и спрятала в зарослях букса, но зимой он замерз и стекло его треснуло. Это было в тот год, когда зима явилась второпях: как-то вечером, сразу после ужина заглянула к ним да и задержалась на целых восемь месяцев. Это были военные годы, и мисс Бодуин, добрая белая женщина, принесла им подарки на Рождество – одеколон Денвер с матерью, апельсины мальчикам, а Бэби Сагз – отличную шерстяную шаль. Говоря о войне, где люди без конца умирают, она казалась удивительно счастливой – лицо ее пылало, и хотя голос у нее был низкий, почти мужской, она благоухала так, словно в комнате было полным-полно цветов – восторг, связанный с этим ароматом, Денвер потом испытывала в полном одиночестве в зарослях букса. За домом номер 124 был небольшой лужок, за которым сразу начинался лес. В лесу протекал ручей, и на ближнем краю его, между лугом и ручьем, среди огромных дубовых пней, росли пять буксовых кустов, образовавших пышную куртину; поднявшись над землей фута на четыре, кусты начали тянуться друг к другу, и в итоге получилось нечто вроде округлой беседки футов семи в высоту, с толстыми зелеными стенами из шепчущих что-то листьев.

Низко пригнувшись, Денвер ныряла в густую зелень, а внутри этой комнатки могла даже выпрямиться в полный рост, окруженная изумрудным светом.

Все началось, когда она еще маленькой девочкой играла здесь в дочки-матери, но потом ее желания изменились, поменялась и сама игра. Здесь было тихо, никто сюда не заходил и никто не знал об этом месте, разве что кролики заглядывали, но сразу пугались отвратительного, с их точки зрения, запаха одеколона и убегали. Сперва Денвер просто играла здесь (тишина в зеленой комнатке была какой-то удивительно спокойной), потом убегала сюда (от страха, владевшего ее братьями), и вскоре эта естественная беседка стала для нее самым любимым местом, где она спасалась от горестей горького мира и давала волю воображению, что было ей абсолютно необходимо, ибо беспросветное одиночество иссушало ей душу. Да, именно так: иссушало душу. Под защитой зеленых листовых стен она чувствовала себя взрослой и умной, и спасение было совсем близко, стоило только пожелать.

Однажды она полуодетая сидела в лесной комнатке – это было в начале осени, задолго до того, как Поль Ди переехал к ним и стал жить с ее матерью, – и ей вдруг стало холодно: кожи ее коснулся странный ветер, пахнувший духами. Она быстро оделась, вылезла, пригнувшись, из зеленого убежища, выпрямилась, да так и застыла под падавшими с небес снежинками: этот мелкий колющий снежок очень походил на тот, из воспоминаний матери о том, как она родила

Денвер – в жалкой дырявой лодчонке с помощью той белой девушки, в честь которой Денвер и получила свое имя.

Дрожа, Денвер подошла к дому, как всегда воспринимая его не как некое строение, а как живое существо. Существо, способное плакать, вздыхать, дрожать и страдать нервными припадками. Походка и взгляд Денвер были настороженными, точно у ребенка, что неуверенно приближается к не слишком обремененному заботами, однако очень нервному родственнику, зависимому, но гордому. Дом был закован в латы тьмы, приоткрыта была лишь одна нагрудная пластина – неярко светилось окно комнаты Бэби Сагз. Денвер заглянула туда и увидела, что мать молится, стоя на коленях, что было делом самым обычным. Необычным было другое (даже для девочки, что всю жизнь прожила в доме, где всю хозяйничают духи умерших): рядом с матерью и тоже как бы на коленях стояло белое платье, рукавом обнимая ее за талию. И то, как нежно платье обнимало ее рукавом, тут же заставило Денвер вспомнить обстоятельства ее появления на свет; а мелкие, колющие снежинки сыпались на нее с небес, точно лепестки цветов. Белое платье и мать казались двумя взрослыми женщинами-подругами – и одна из них (платье) поддерживала другую. А волшебство ее, Денвер, рождения – в общем-то, настоящее чудо – как и ее имя, словно подтверждало, что такая дружба возможна.

Она легко погрузилась в бесчисленное число раз рассказанную ей историю, и давно знакомые картины разворачивались перед нею, пока она брела по тропке от освещенного окна к двери. В доме была только одна дверь, и Денвер, чтобы добраться до нее, нужно было обойти весь дом кругом и зайти с фасада, то есть пройти мимо теплой кладовки, мимо холодной, мимо уборной, мимо сарая – в общем, обойти весь двор и только потом подняться на крыльцо. А чтобы добраться до того места в знакомой истории, которое Денвер любила больше всего, ей пришлось начать вспоминать немного раньше: услышать птиц в густом лесу, шорох листьев под ногами, увидеть, как ее мать пробирается через пустынные, совершенно безлюдные холмы. Как она идет на своих истерзанных ногах, так что и ступить-то уже невозможно. Они настолько распухли, что Сэти не могла различить, где у нее свод стопы, или щиколотка, или коленка. Эти ноги или, точнее, бесформенные подпорки оканчивались толстыми мясистыми лепешками, в которых чуть вырисовывались пять ногтей на пяти пальцах. Но она не могла, она ни за что не должна была останавливаться, потому что, если останавливалась, маленькая антилопа у нее внутри тут же начинала бодаться и уминать плоть ее чрева нетерпеливыми копытцами. Когда она шла, антилопа вроде бы успокаивалась и начинала мирно щипать траву – вот Сэти и не жалела своих несчастных ног, которым на шестом

месяце беременности лучше было бы стоять спокойно. Возле закипающего на плите чайника, или у маслобойки, или у таза с бельем, или у гладильной доски. Молоко, липкое и прокисшее, пропитавшее платье у нее на груди, привлекало внимание всех летучих тварей от москитов до кузнечиков. К тому времени, как Сэти добралась до подножия этого холма, она перестала даже отгонять их. Боль у нее в голове, сперва похожая на отдаленные удары колокола, к этому времени превратилась в сплошной гул, плотным шлемом охвативший голову и отдававшийся в ушах. Вдруг она споткнулась и куда-то провалилась. Все тело ее, казалось, было мертво, кроме переполненных молоком грудей и маленькой антилопы внутри. Наконец она поняла, что все-таки упала и лежит на земле – острые стебельки дикого лука царапали ее висок и щеку. И, несмотря на то, что она очень беспокоилась за свою жизнь, ибо от этой жизни зависела жизнь ее детей, она говорила Денвер, что подумала тогда: «Что ж, вот и хорошо, по крайней мере не нужно больше делать ни шага». Эта мысль лишь мелькнула и тут же пропала, а может, и не возникала вовсе. Сэти ждала, когда маленькая антилопа у нее внутри снова начнет протестовать. Странно, и почему она все время представляла себе антилопу? Объяснить это было невозможно, потому что Сэти никогда ни одной антилопы не видела. Может, это воспоминание о той, давнишней ее жизни, что была до Милого Дома, о детстве, о тех местах, где она родилась (то ли в Каролине, то ли в Луизиане)? Хорошо она помнила только ту песню и танец. Даже мать она помнила хуже. Мать показала ей старшая девочка, которой тогда было восемь, и она присматривала за младшими ребятами; мать оказалась одной из множества женских спин, движущихся над залитым водой полем. Сэти терпеливо ждала, когда эта спина доберется до конца ряда и выпрямится. И увидела: на ее матери была матерчатая шляпа, а у всех остальных соломенные – существенное отличие в этом мире тихо переговаривавшихся, вечно согнутых женщин, каждую из которых звали «Мам».

– Сэ-ти!

– Да, мам?

– Не оставляй ребенка одного.

– Хорошо, мам.

– Сэти!

– Что, мам?

– Принеси щепок для растопки.

– Хорошо, мам.

Ох! Но когда они пели... И, ох, когда они танцевали!.. А иногда они танцевали тот самый танец антилопы. Мужчины вместе с женщинами, одна из которых уж точно была ее «мам». Они меняли обличье и превращались в кого-то иного. В свободных, ничем не связанных диких животных, своевольных и копытцами чувствовавших ритм ее сердца лучше, чем она сама. Как и эта антилопа в ее животе.

«Наверное, матери этого ребенка так и суждено умереть в зарослях дикого лука на проклятом левом берегу Огайо». Вот что тогда было у нее на уме, она так и сказала Денвер. В точности так. И это вовсе ее почему-то не пугало, особенно если учесть, что тогда ей больше не нужно было бы делать ни шагу. Однако, представив себе, как она лежит здесь, мертвая, а маленькая антилопа еще жива – сколько она проживет? час? день? сутки? – в ее безжизненном теле, она так ужаснулась, что громко застонала, и этот стон заставил человека, бредущего по тропе шагах в десяти от нее, остановиться и прислушаться. Сэти не слышала самих шагов, но вдруг почувствовала, что кто-то остановился неподалеку, а потом почувствовала запах волос. И услышала голос, который спрашивал: «Кто здесь?» Так. Все ясно. Ее обнаружил какой-то белый мальчишка. У него тоже, как и у тех, хищные зубы и мерзкие желания. Ясно также и то, что, даже достигнув предела измотанности, на самом берегу великой реки Огайо, всей душой стремясь к трем своим малышам, один из которых может умереть с голоду, не дождавшись молока, которое она несет, после того, как пропал ее муж, после того, как у нее украли молоко, а спину превратили в чудовищное месиво, после того, как осиротили ее детей, – даже после всего этого легкой смертью она не умрет. О нет!

Она рассказывала Денвер, что вдруг НЕЧТО вошло в нее прямо из земли – страшно холодное, но живое, и стало грызть ее изнутри челюстями. «Ледяными челюстями», – говорила она. И вдруг ей захотелось увидеть глаза того белого мальчишки, захотелось вырвать их зубами, прокусить ему щеку.

«Я вдруг почувствовала нестерпимый голод, – рассказывала она. – Ужасно! Мне жутко хотелось увидеть его глаза. Ждать я не могла».

И она, приподнявшись на локте, немного проползла – подтягиваясь и раз, и другой, и третий, и четвертый, – навстречу тому молодому голосу, который все спрашивал: «Эй, кто это там, а?»

«Подойди да посмотри, – думала Сэти. – И это будет последнее, что ты увидишь». Сперва появились чьи-то ноги, и она решила: что ж, видно, придется так выполнять волю Твою, Господи, – сейчас я их отгрызу. «Вот я сейчас смеюсь, – говорила Сэти дочери, – но я ведь действительно так думала. Я просто не успела. Но мне ужасно хотелось сделать это. Я была как змея. Ничего, кроме своих челюстей и голода, не чувствовала».

Но это был вовсе не мальчишка. А белая девушка. Жуть какая оборванная, нечесаная – видно, из самых что ни на есть разбедняцких бедняков. И она сказала: «Ой, гляди-ка, негритянка! Вот это да! Прямо невероятно!»

И дальше следовала та часть истории, которую Денвер любила больше всего.

Девушку звали Эми, и вот уж кому действительно нужен был крепкий бульон и побольше мяса. Руки у нее были узловатые и тонкие, как стебли сахарного тростника, а на голове – такая копна волос, что хватило бы на пятерых. Взгляд какой-то медлительный. Она вообще на все смотрела подолгу. Уставится – и смотрит. Зато говорила ужасно много и быстро, даже непонятно, как она успевала дышать. А ее похожие на стебли сахарного тростника руки оказались удивительно крепкими, прямо железными.

– Ну, знаешь, ни разу в жизни не видела более испуганного лица! Чего это ты? И что здесь, в темноте, делаешь?

Распластавшись на траве, как змея – а ей все казалось, что она теперь стала змеей, – Сэти открыла было рот, готовясь ужалить, но оттуда вместо клыков и раздвоенного языка на свет явилась истина.

– Я убежала, – сказала вдруг Сэти. Это были первые слова, произнесенные ею за целый день, и она выговорила их с трудом, так сильно распух и болел язык.

– С такими ногами? Ах ты Господи! – Девушка присела на корточки и уставилась на распухшие ступни Сэти. – У тебя случайно ничего нету поесть, а?

– Нет. – Сэти заворочалась, пытаюсь сесть, но не смогла.

– Умираю – как есть хочется. – Девчонка пошарила глазами вокруг, ища в траве что-нибудь съедобное. – Я думала, здесь черника растет. Похоже, что должна. Я только поэтому сюда и поднялась. И уж никак не думала, что какую-то негритянку здесь найду. А впрочем, если черника и была, так ее давно птицы склевали. А ты чернику любишь?

– Я беременна, мисс.

Эми посмотрела на нее.

– Так это тебе, наверно, потому есть и не хочется, да? Что ж, мне-то непременно нужно хоть что-нибудь проглотить.

Она пригладила свои немыслимые патлы руками и тщательно обследовала вокруг каждый кустик. Так и не обнаружив ничего съедобного, она решительно встала, явно намереваясь уйти. Сердце у Сэти так и подпрыгнуло при мысли, что она останется совсем одна, лежа на траве и без единого ядовитого зуба в пасти.

– Куда держите путь, мисс?

Девушка обернулась; глаза ее как-то по-новому блеснули.

– В Бостон. Бархату хочу купить. Там есть такой магазин, называется «Вильсон». Я видела картинки – у них самый красивый бархат продается. Никто не верит, что я бархат могу купить, а я его непременно куплю!

Сэти кивнула и приподнялась на локте.

– А ваша мама знает, что вы отправились искать этот бархат, мисс?

Девчонка тряхнула головой, отбрасывая волосы с лица.

– Моя мама работала на наших хозяев, чтоб свой проезд домой отработать. А тут я у нее родилась, и она почти сразу после этого умерла. Вот хозяева и заявили, что я должна отработать ее должок. Я и отработала. А теперь хочу купить себе бархат.

Они не смотрели друг на друга, по крайней мере, в глаза. И тем не менее между ними быстро завязалась обычная, самая свойская беседа ни о чем – разве что одна из них лежала на земле.

– Бостон, – сказала Сэти. – А это далеко?

– Еще бы! Ужасно! Сто миль. А может, и больше.

– Небось бархат-то можно бы и поближе сыскать.

– Можно, да не такой, как в Бостоне. В Бостоне самый лучший. И мне так к лицу будет! Ты его хоть когда-нибудь трогала?

– Нет, мисс. Никогда я никакого бархата не трогала. – Сэти не понимала, в чем тут причина – то ли в голосе девчонки, то ли в Бостоне, то ли в бархате, – но когда эта белая девушка говорила, ребенок у нее в животе спал. Ни разу не толкнул и не пихнул, и она догадалась, что счастье, кажется, начало ей улыбаться.

– А ты хоть видела его? – спросила девушка. – Спорим, ты его и не видела!

– Даже если и видела, все равно не знала, что это бархат. А на что он, бархат этот, похож?

Эми с недоверием перевела взгляд на Сэти, словно опасалась рассказывать о столь важных вещах какой-то незнакомой негритянке.

– Тебя как зовут-то? – спросила она.

И хотя Сэти находилась от Милого Дома достаточно далеко, не стоило все же называть свое настоящее имя первому встречному.

– Лу, – ответила Сэти. – Меня Лу зовут.

– Ну вот, Лу, значит, так: бархат похож на новорожденный мир. Чистый, нежный и очень мягкий. Тот бархат, что видела я, был коричневый, но у них в Бостоне есть любые цвета. Кармин, например. Это значит «красный», но когда говоришь о бархате, надо говорить «кармин». – Она уставилась в небеса, но потом, словно вдруг вспомнив, что и так слишком задержалась в пути, вскочила и заявила: – Мне пора идти.

Продираясь сквозь кусты, она крикнула Сэти:

– А ты-то что будешь делать? Так и будешь лежать, пока не разродишься?

– Я встать не могу, – призналась Сэти.

– Что? – Девушка остановилась и обернулась к ней, словно не расслышав.

– Я сказала, что не могу встать.

Эми рукой вытерла под носом и медленно вернулась к тому месту, где лежала Сэти.

– Вон там есть какой-то дом, – сказала она.

– Дом?

– Н-ну... я мимо проходила. Да нет, это не настоящий дом, люди там не живут, конечно. Что-то вроде сарая или навеса.

– Далеко это?

– Ну, это как посмотреть. Но если ты останешься здесь на ночь, тебя змея укусить может.

– Что ж, пусть кусает. Я все равно не могу встать, не говоря уж о том, чтобы куда-то идти. Да, Господи, мисс, я и ползти-то не могу!

– Конечно же можешь, Лу! Давай, давай! – рассердилась Эми и, тряхнув копной волос, достаточной для пятерых, первой двинулась по тропе.

И Сэти поползла, а Эми шла рядом; когда Сэти нужно было передохнуть, Эми тоже останавливалась и понемножку рассказывала ей о Бостоне, о бархате и о разных вкусных вещах. Благодаря звуку ее непрерывно разливающегося голоса, похожего на голос шестнадцатилетнего мальчишки, маленькая антилопа вела себя тихо – видно, паслась на лужку. И пока Сэти ползком преодолевала бесконечный путь до сарая, ребенок совсем не брыкался.

Когда они наконец добрались до цели, одежда на Сэти вся превратилась в грязные лохмотья, за исключением повязки на голове. Ниже кровоточивших колен она своих ног не чувствовала; переполненные груди кололо точно булавками. И лишь хрипловатый голос, что говорил о бархате, о Бостоне и всяких лакомствах, заставлял ее ползти дальше и думать, что, возможно, она все-таки ползет не к собственной могиле и это не последние часы в жизни ее не рожденного еще шестимесячного младенца.

В сарае было полно сухих листьев, которые Эми сгребла в кучу, чтобы Сэти могла лечь. Потом она притащила целую охапку камней, сверху тоже забросала их листьями и заставила Сэти положить ноги повыше, приговаривая:

– Знала я одну женщину, так ей, между прочим, ноги отрезали, когда они у нее так же вот распухли. – И она изобразила, как той женщине отпиливали ноги по колено. – Вжик пилой – и готово!.. Я вообще-то ничего была. Красивые руки и все прочее. Тебе небось сейчас это и в голову прийти не может, верно? Но это было еще до того, как они меня в подвале заперли. А знаешь, я как-то рыбу удил на Бивере. Знаешь, сомики там сладкие, как курятина. Ну так вот, удил я рыбу, и подплывает ко мне утопший негр. Я страсть как утопленников не люблю, а ты? Между прочим, у тебя сейчас ноги совсем как у того негра. Такие же распухшие.

А потом она совершила чудо: подложила под ноги Сэти еще больше камней и стала растирать ей ступни и растирала до тех пор, пока Сэти от боли не заплакала горячими слезами.

– Да, конечно, теперь болеть-то будет, – сказала Эми. – Когда что-нибудь к жизни возвращается, всегда больно.

Истина на все времена, подумала Денвер. Может быть, то белое платье, обнимая рукавом талию ее матери, тоже страдало от боли? Если так, значит, маленькое привидение что-то задумало. Входя в дом, она увидела, как Сэти выходит из гостиной.

– Я видела, как тебя какое-то белое платье обнимало, – сказала Денвер.

– Белое? Может быть, это моя свадебная ночная рубашка? А ну-ка, расскажи, как оно выглядело.

– С высоким воротом. На спине длинный ряд пуговиц.

– Пуговицы? Нет, не подходит. У меня отродясь ни одной пуговицы ни на чем не было.

– А у бабушки Бэби?

Сэти покачала головой.

– Она с ними управляться не умела. Даже с теми, что у нее на туфлях были. Ну а еще что?

– Сзади такие сборки. Там, на самом заду.

– Турнюр? Это было платье с турнюрком?

– Я не знаю, как это называется.

– Ну, оно было так все присобрано? Сзади, ниже талии?

– Угу.

– Такие платья богатые дамы носят. Шелковое?

– Из хлопка, похоже.

– Из батиста, наверное. Из белого батиста. Ты сказала, что оно меня обнимало? Как?

– Оно было как ты. В точности как ты. И стояло на коленях подле тебя, когда ты молилась. И рукой обнимало тебя за талию.

– О Господи!

– О чем ты молилась, мама?

– Ни о чем таком. Я больше у Господа ничего не прошу. Я просто с ним разговариваю.

– И о чем ты с ним разговаривала?

– Ты не поймешь, детка.

– Нет, пойму.

– Я разговаривала с ним о времени. Мне так трудно поверить, что оно действительно существует. Некоторые вещи уходят. Исчезают. Проходят мимо. А некоторые остаются, несмотря ни на что. Мне все казалось, это из-за моих вечных воспоминаний. Понимаешь? Некоторые вещи забываешь скоро. А некоторые – никогда. Оказалось – дело не в этом. Сами-то места, они всегда остаются там же, где и были. Если, к примеру, дом сгорит, его самого уже не будет, а место, где он стоял, и воспоминания о том, где он стоял, останутся, и место это будет существовать не только в моей памяти, но и в жизни. А то, что я вспоминаю, это все берется оттуда, не у меня из головы; то есть я хочу сказать, что если даже я не буду ни о чем думать и даже если умру, то все, что я сделала, узнала или увидела, все равно там и останется. Там, где происходило.

– А другие люди могут это видеть? – спросила Денвер.

– О да! Да, да, да! Вот, например, идешь ты по дороге и вдруг ясно слышишь или видишь что-то прямо перед своим носом. Совершенно ясно. Ну и решишь, что просто подумала об этом. Что сама только что все это придумала. Ан нет. Это ты на чужие воспоминания налетела. То место, где я жила прежде дома

номер 124, на самом деле существует! И никогда никуда не денется. Даже если вся ферма целиком – каждое ее дерево, каждая травинка – исчезнет.

Воспоминание о ней будет там; больше того, если ты туда отправишься – даже если никогда там не бывала – и постоишь на том месте, где эта ферма была, то все произойдет снова; все снова начнется – и будет поджидать тебя. Так что, Денвер, в Милом Доме тебе никогда нельзя появляться. Никогда. Потому что хоть все это и кончено давно – кончено раз и навсегда, – но те дни непременно будут ждать тебя там. Вот потому-то я и должна была навсегда увезти оттуда всех своих детей. Остальное значения не имело.

Денвер погрызла ногти.

– Если оно все еще там и ждет, то, значит, на свете ничто никогда не умирает?

Сэти посмотрела ей прямо в глаза.

– Ничто и никогда, – сказала она.

– Ты ни разу толком не обмолвилась мне о том, что там произошло. Я знаю только, что тебя выпороли плетью и ты сбежала. Беременная. Мной.

– А больше и рассказывать нечего, разве что о том учителе. Он был маленького роста. Коротышка. Всегда носил жесткий воротничок с галстуком, даже когда ездил в поле... миссис Гарнер говорила, что он учил детей в школе. Ей это было приятно. Приятно, что деверь у нее по-настоящему образованный, а согласился приехать и наладить дела на ферме после смерти мистера Гарнера. Наши-то вполне могли бы и сами справиться, несмотря на то, что Поля Эф уже продали. Но получилось в точности так, как говорил Халле. Она не захотела быть единственным белым человеком на ферме, да к тому же еще и единственной белой женщиной. И очень обрадовалась, когда этот школьный учитель согласился приехать. Он привез с собой двух парней. Сыновей или племянников. Не знаю. Они его звали «Онка»[1 - Искаженное uncle (англ.) – дядя.] и были очень хорошо воспитаны, и они, и он. Говорили негромко и сморкались в платочек. Ну очень воспитанные. Знаешь, из тех, кто даже с Иисусом Христом на короткой ноге и может запросто Его по имени звать, да только никогда этого не делает – из вежливости. Он очень хорошо в фермерских делах разбирался, так Халле говорил. Не был таким сильным, как мистер Гарнер, но зато весьма смекалистым. Ему очень нравились те чернила, что я делала. Рецепт-то был

миссис Гарнер, но ему больше нравилось, когда их растирала и смешивала я, а хорошие чернила были для него очень важны, потому что по ночам он сидел и что-то писал в своей книге. Книга была про нас, но тогда мы еще этого не знали. Мы просто думали, что у него манера такая – всякие вопросы нам задавать. Он стал таскать с собой повсюду записную книжку и записывать все, что мы говорили. Я и сейчас думаю, что именно эти вопросы и доконали Сиксо. Совсем доконали.

Она умолкла.

Денвер понимала, что больше от матери ничего не добьешься – по крайней мере, сейчас. Один раз медленно поднялись и опустились веки, нижняя губа медленно поползла вверх и прижала верхнюю, ноздри раздулись. Сэти глубоко вздохнула, словно собиралась задуть свечу, – по этим признакам Денвер всегда сразу догадывалась, что больше мать рассказывать не будет.

– Знаешь, мне кажется, маленькое привидение что-то задумало, – сказала Денвер.

– Да? И что же?

– Не знаю, но то платье, которое тебя обнимало, что-то же, наверное, значит?

– Возможно, – сказала Сэти. – Может быть, оно что-нибудь и задумало.

Кто бы они ни были, кем бы они ни могли быть, Поль Ди прогнал их навсегда. Размахивая столом, громким своим мужским голосом крича, он избавил дом номер 124 от его дурной славы. Денвер давно приучила себя гордиться тем приговором, который вынесли им соседи-негры, считавшие, что привидение непременно злое и выискивает очередную жертву. Ведь никто из них никогда не испытывал тайного удовольствия от настоящих чар, от того, что ты не предполагаешь, а знаешь совершенно точно, что за миром окружающих тебя вещей есть еще один. Вот ее братья это понимали, но боялись; бабушка Бэби это знала, но – печалилась. Никто не способен был по-настоящему оценить то, что находиться в компании маленького привидения совершенно безопасно. Даже Сэти его не любила. Она просто мирилась с его присутствием – как мирятся с неожиданной переменой погоды.

А теперь оно исчезло. Изгнано гневными воплями мужчины с ореховыми глазами. Мир Денвер сразу стал плоским, неинтересным, у нее осталась только ее изумрудная «комнатка» высотой в семь футов в лесу, у ручья. У матери были свои секреты – то, о чем она ни за что не хотела говорить или рассказывала только наполовину. Что ж, и у Денвер тайны тоже есть. И все ее «секреты» всегда так хорошо пахнут – словно одеколон «Ландыш».

Сэти не слишком задумывалась о том белом платье, пока не пришел Поль Ди, и тогда она вспомнила слова Денвер: маленькое привидение что-то задумало. Наутро после первой ночи, проведенной с Полем Ди, Сэти улыбалась, стоило ей подумать о том, что может означать одно-единственное слово. Это была роскошь, которой она не испытывала целых восемнадцать лет. Это было впервые за долгое время. До этой ночи она старалась не то чтобы избежать боли, но побыстрее перетерпеть ее. Когда-то, единственный раз в жизни, она строила планы – когда решилась бежать из Милого Дома – и все тогда пошло вкривь и вкось, и она больше не осмеливалась перечить судьбе и что-то еще задумывать.

И все же в то утро, когда она проснулась рядом с Полем Ди, ей сразу вспомнилось то слово, которое ее дочка употребила несколько лет назад. И она подумала о том, кто это там в белом платье стоял на коленях с нею рядом, а еще – о том искушении, что охватило ее вчера у кухонной плиты, когда он обнял ее сзади – о страстном желании поверить и запомнить. А может, так и нужно? А может, стоит все-таки жить дальше и что-то чувствовать? Жить дальше и на что-то рассчитывать?

Мысли у нее путались, пока она лежала с ним рядом и слушала его дыхание, а потом – потихоньку, очень осторожно – она выбралась из кровати.

Стоя на коленях в гостиной, куда обычно приходила поговорить с Богом и подумать, она вдруг отчетливо поняла, почему Бэби Сагз так тосковала по ярким краскам. В этой комнате не было ничего яркого, кроме двух оранжевых квадратов на стеганом лоскутном одеяле, которые среди здешней мрачной обстановки выглядели поистине ослепительно. Стены комнаты были серые, пол – землисто-коричневый, деревянный туалетный столик – темно-бежевый, занавески – белые, а главный здесь предмет – стеганое лоскутное одеяло

на железной кровати – являл собой полный набор темных и мрачных оттенков, который выдавал бережливость и скромность хозяйки: кусочки синей саржи, черной, коричневой и серой шерсти. И на этом фоне дико и неожиданно выглядели два оранжевых пятна – как жизнь в стране мертвых.

Сэти посмотрела на свои руки, торчавшие из рукавов платья бутылочно-зеленого цвета, и подумала, как все-таки мало в этом доме ярких красок и как странно, что до сих пор и она не затосковала по ним, как Бэби Сагз. Это неспроста, подумала она, определенно неспроста, потому что последняя яркая краска, которую она помнила, была розовой – розовый, покрытый блестками камень, который она положила на могилу своей малышки. После этого она стала различать цвета не лучше, чем наседка. Каждый день с раннего утра она трудилась над пирожками с фруктовой начинкой, над различными закусками из картофеля и прочих овощей, пока повар занимался супами, мясом и всем остальным. Но ей было совершенно безразлично, были ли в тот день яблоки зелеными, а кабачок желтым. Каждый день она видела утреннюю зарю и закат, но краски небес в этот час ее не трогали. Что-то тут было неладно. Как будто, увидев однажды красную кровь ребенка, а потом блестки на розовом надгробье, она совершенно перестала различать цвета.

Дом номер 124, может быть, потому и был так полон всяких сложных чувств и переживаний, что сама Сэти теперь совершенно равнодушно относилась к любой утрате. Было время, когда она каждое утро и вечер пристально вглядывалась в поля, надеясь снова увидеть там своих мальчиков. Когда она стояла у открытого окна, не замечая мух, склонив голову к левому плечу, и все смотрела, смотрела – все высматривала их. Тень от облака на дороге, какая-нибудь старуха, коза, сорвавшаяся с привязи и изодранная колючками ежевики, – все сперва казалось ей Ховардом – нет, Баглером. Но понемногу она прекратила высматривать их в поле, и лица тринадцатилетних мальчишек совершенно растворились в ее памяти, превратившись в личики младенцев, да и то являвшихся ей только во сне. Когда же ее сны вылетали за пределы дома номер 124 и устремлялись, куда им захочется, она порой видела сыновей среди прекрасных деревьев Милого Дома, видела их крошечные ножки, скрывавшиеся среди густой листвы. Иногда же мальчики бежали вдоль железной дороги и смеялись – чересчур громко, чтобы расслышать ее, ибо они никогда не оборачивались на ее зов. А когда она просыпалась, дом снова обступал ее со всех сторон: вон дверь, а там выстроились в ряд противни с сухим печеньем; вон белые ступеньки лестницы, по которой так любила ползать ее малышка; вон уголок, где Бэби Сагз чинила обувь, груда которой до сих пор валяется в холодной кладовой; вон то место на плите, где Денвер

обожгла пальцы. И, конечно же, сразу ощущалось проклятие, что опутывало весь дом, не оставляя места ни для чего другого. Пока не появился Поль Ди, не разломал здесь все, не расчистил место – для себя, не заставил то, что жило в доме, занимая его целиком, потесниться, не изгнал его совсем, а сам остался стоять посреди устроенного им погрома.

Так что на следующее утро после появления в доме Поля Ди, стоя на коленях в гостиной, она вдруг совершенно отчетливо почувствовала, глядя на два оранжевых квадрата, подтверждавших это: дом номер 124 пуст.

И все из-за него. При нем все чувства как бы спешили подняться на поверхность. Вещи становились тем, чем и должны были быть: унылое однообразие и выглядело уныло; жар печи обжигал. Из окон неожиданно открылся вид. И представьте себе, Поль Ди, оказывается, еще и пел!

Немного риса, чуть-чуть бобов,

А мяса нету; поел – и готов.

Ох, тяжела работа,

Когда все жрать охота!

Ну да, он уже встал и пел, приводя в порядок то, что вчера разнес вдребезги. Песенки были все какие-то незнакомые; наверное, он выучил их в той тюрьме-каменоломне, а может, на Войне. Ничего подобного они в Милом Доме не пели, там в их песнях каждое слово было пронизано тоской о любви.

А эти песни, привезенные им из Джорджии, были похожи на гвозди с плоскими головками, которые он вколачивал, вколачивал, вколачивал...

На рельсы свою голову положу,

Пусть поезд пройдет – ничего не скажу.

Ах, если б только я начальником стал,

Почем фунт лиха белый босс бы узнал!

Пять центов получишь,

А счастья – ни на грош.

Кайлом все машешь –

Свою жизнь убьешь...

Но они как-то не годились здесь, эти песни. Они были слишком громкими, слишком много в них было силы для тех мелких домашних дел, которыми он сейчас занимался – приделывал к столу отломанные ножки, вставлял стекла.

Но он не мог больше петь «Бурю над морем», которую они так часто пели под деревьями Милого Дома, так что предпочел мурлыкать без слов те песенки, что приходили ему в голову, и чаще всего – «Босые ноги. Ромашки сок... Возьми мою шляпу, постелью помани...»

Ужасно ему хотелось изменить слова песенки и спеть сразу: «Отдай мою шляпу, ботинки отдай...», потому что он не верил, что сможет жить с женщиной – с любой – дольше чем месяца два-три. Примерно столько же времени он был способен оставаться на одном месте. Так стало после Делаверэ и еще до этого проклятого Алфреда в штате Джорджия, где он спал в норе под землей и выползал на солнечный свет с единственной целью – долбить камень, и где побег, когда он оказался к нему готов, был совершен с единственной целью – убедить себя, что он никогда больше не будет закованным в цепи ни спать, ни испражняться, ни есть, ни разбивать камни тяжелой кувалдой.

Но это была не обычная женщина в обычном доме. Стоило ему вступить в то пятно красного света, как он это понял, и в сравнении с домом номер 124 весь остальной мир казался ему теперь убогим, бесцветным. После Алфреда он заставил навсегда замолчать изрядную часть своей души и пользовался лишь той, что давала ему возможность ходить, есть, спать, петь. Если он сможет делать все это – да еще если подбросить для разнообразия какую-нибудь работу и немного секса, – то больше ему ничего и не нужно, потому что если ему захочется большего, то в памяти непременно всплывет лицо Халле и смех Сиксо, и придется с этим жить. И тогда он вспомнит, как его била дрожь в той земляной норе. И как он был по-своему благодарен за те дневные часы, в течение которых вкалывал как мул в каменоломне, потому что, держа в руках кувалду, он переставал дрожать. Та земляная нора сделала с ним то, чего не смог сделать Милый Дом, чего не сделала с ним ишачья работа и собачья жизнь: довела его до того, что лишь чудом он не лишился рассудка.

К тому времени, как он добрался до штата Огайо, потом до города Цинциннати, потом до дома матери Халле Сагза, он считал, что уже все на свете видел и пережил. И сейчас, вставляя сломанную им же оконную раму, он удивлялся той радости, какую испытал, увидев жену Халле живой, когда она босиком, с непокрытой головой вышла из-за дома, неся в руках чулки и башмаки.

– Я подумал, не поискать ли мне где-нибудь здесь работу. Ты как считаешь?

– Выбор тут невелик. В основном на реке. И еще со свиньями – на бойне.

– Что ж, на реке я, правда, никогда не работал, но могу поднять любую тяжесть, весом с меня. В том числе и свинью.

– Здесь белые, конечно, лучше, чем в Кентукки, но тебе, возможно, придется драться за место.

– Не важно, буду ли я драться за место; важно – где это место найти. Так ты считаешь, это нормально, если я попробую здесь остаться?

– Очень даже неплохо было бы.

– А твоя дочка? Денвер? Сдается мне, она по-другому думает.

– С чего это ты решил?

– Она будто ждет чего-то... Словно что-то должно произойти. Но, уж конечно, не того, что я тут останусь.

– Не знаю, что ты имеешь в виду.

– Ладно, как бы то ни было, а она уверена: я здесь лишний.

– На этот счет можешь не беспокоиться. Она просто привыкла среди духов жить. С самого начала. И сама, наверно, уже чуточку заколдована.

– А это разве хорошо?

– Наверно. С ней-то ничего плохого случиться не может. Вот смотри. Все, кого я знала, либо умерли, либо пропали без следа. Но только не она. Не моя Денвер. Даже когда я носила ее, даже когда стало ясно, что я не смогу нормально разродиться – а значит, и она в живых не останется, – она притянула к себе из-за холма какую-то белую девушку. Уж такой-то помощи я ожидала меньше всего. А когда этот учитель нашел нас, и они ворвались сюда, вооруженные законом и ружьями...

– Так он все-таки вас нашел?

– Не сразу, но отыскал в конце концов.

– И не увез вас обратно?

– О нет! Я туда возвращаться была не намерена. И мне было все равно, кто там меня нашел. Куда угодно, только не туда! Вот я и отправилась в тюрьму. Денвер была грудная, так что и она со мной вместе. Крысы там жрали все, что попадется, но ее не тронули.

Поль Ди отвернулся. Ему хотелось узнать об этом побольше, однако упоминание о тюрьме вновь вернуло его в проклятый Алфред в штате Джорджия.

– Мне нужны гвозди. Здесь у кого-нибудь можно занять гвоздей, или мне обязательно в город идти?

– Да лучше в город. Тебе ведь все равно и еще кое-что нужно.

Всего одна ночь – и они уже разговаривали как муж и жена. Они словно перескочили через пылкую любовь и всякие обещания и перешли прямо к «это нормально, если я попробую остаться здесь?».

Для Сэти будущее зависело от того, сможет ли она не подпускать к себе прошлое. Она считала, что теперь они с Денвер живут «лучше, чем тогда», а на самом деле – просто иначе, чем тогда.

Однако то, что Поль Ди явился из прошлой жизни и попал прямо в ее постель, тоже оказалось не так плохо; и мысли о будущем с ним или – по причине

тогдашней жизни – без него уже начинали тревожить ее. Что же касается Денвер, то здесь имели значение только те усилия, которые Сэти всегда прилагала и будет прилагать, охраняя дочь от прошлого, все еще поджидавшего ее. Только это и было важно.

* * *

Приятно озабоченная этими мыслями, Сэти избегала заходить в гостиную и старалась не замечать косых взглядов Денвер. Поскольку знала – такова уж жизнь, ничего хорошего не жди. Денвер постоянно во все вмешивалась и на третий день открыто спросила Поля Ди, долго ли он еще собирается здесь торчать.

Видно, эти слова сильно задели его: он даже чашку с кофе мимо стола поставил. Она упала на пол и покатилась по покосившимся половицам к входной двери.

– Торчать здесь? – Поля Ди и не взглянул на разлитый кофе.

– Денвер! Да что с тобой такое? – Сэти посмотрела на дочь, чувствуя скорее растерянность, нежели гнев.

Поля Ди поскреб заросший щетиной подбородок.

– Может, мне действительно пора сматываться отсюда?

– Нет! – Сэти удивилась – так громко она это выкрикнула.

– Он сам знает, что ему нужно, – заявила Денвер.

– Зато ты не знаешь, – ответила ей в тон Сэти. – Ты не знаешь, что и тебе самой-то нужно. И я больше не желаю слышать от тебя ни единого слова.

– Я просто спросила, не пора...

– Заткнись! Можешь сматываться отсюда сама. А пока пойди куда-нибудь и посиди молча.

Денвер взяла тарелку и вышла из-за стола, но успела добавить еще куриную спинку и несколько булочек к той куче еды, которую уносила с собой. Поль Ди наклонился, собираясь вытереть разлитый кофе своим синим носовым платком.

– Я сама вытру! – Сэти вскочила и бросилась к плите. За ней висели разные тряпки и белье – все в разных стадиях высыхания. Сэти молча вытерла пол и подобрала откатившуюся к порогу чашку. Потом налила ему кофе в другую чашку и аккуратно поставила ее на стол перед ним. Поль Ди коснулся ее краешка, но ничего не сказал – словно даже простое «спасибо» выговорить ему было не под силу, а кофе представлялся таким великим даром, которого он не мог позволить себе принять.

Сэти снова придвинула свой стул к столу, и они продолжили сидеть молча. В конце концов она поняла, что если хочет, чтобы молчание было нарушено, то должна заговорить первой.

– Я ее этому не учила.

Поль Ди погладил краешек чашки и промолчал.

– И я настолько же поражена ее поведением, насколько ты – обижен!

Поль Ди посмотрел на Сэти.

– Она ведь неспроста этот вопрос задала, верно?

– Неспроста? Что ты хочешь этим сказать?

– Ну, ей, наверно, уже приходилось задавать этот вопрос или, может, хотелось его задать – о ком-то другом, до меня?

Сэти сжала руки в кулаки и подбоченилась.

– Ты, видно, и сам не лучше этой девчонки!

– Не сердись, Сэти.

– Нет, буду! Буду!

– Ты же понимаешь, что я имел в виду.

– Понимаю, и мне это не нравится.

– О Господи, – прошептал он.

– Кто? – Сэти опять кричала.

– Господи! Я сказал «о Господи»! Я всего лишь сел поужинать, а меня дважды вывозили мордой об стол. Один раз за то, что я здесь сижу, а второй – за то, что я спросил, почему меня облаяли в первый раз!

– Она тебя не облаивала.

– Нет? А похоже на то.

– Послушай-ка. Я прошу у тебя прощения за нее. Я действительно...

– Ты этого сделать не можешь. Ни за кого ты просить прощения не можешь. Она сама должна это сделать.

– Тогда я позабочусь о том, чтобы она непременно это сделала. – Сэти вздохнула.

– Я вот что знать хочу: не тот ли она самый вопрос задала, что и у тебя на уме?

– Ох нет, нет, Поль Ди! Нет.

– Значит, у вас на этот счет разные мнения? То есть если она вообще со своим умишком способна мнение иметь.

– Извини, но я не желаю слышать про нее ничего дурного. Я сама ее накажу и отругаю. А ты оставь ее в покое.

Опасно, подумал Поль Ди, очень опасно. Для бывшей рабыни очень опасно любить кого-то так сильно, особенно своих детей. Лучше всего, он это знал по опыту, любить чуть-чуть; совсем немножко, чтобы когда сломают твоей любви хребет или запихнут ее в саван, тогда что ж, тогда у тебя все-таки останутся еще силы для другой любви.

– Почему? – спросил он ее. – Почему ты считаешь себя обязанной ее покрывать? Извиняться за нее? Она уже взрослая.

– Мне все равно, взрослая она или нет. Разве это имеет значение для матери? Ребенок есть ребенок. Ну да, они растут, становятся старше, но взрослыми?.. Как это – взрослыми? Для меня, например, это ровным счетом ничего не значит.

– Это значит, что если она что-то сделала, то должна отвечать за свои поступки. Ты же не можешь все время защищать ее. А что будет, когда ты умрешь?

– Ничего! Я буду защищать ее, пока жива, и когда умру – тоже.

– Ах так? Ну хорошо, с меня хватит, – сказал он. – Я уйду.

– Да так уж оно есть, Поль Ди. Не умею я объяснить лучше, да только так уж оно и есть. Если мне придется выбирать – что ж, выбирать-то, собственно, будет нечего.

– В этом-то все и дело. Именно в этом. Я не прошу тебя выбирать. И никто бы на моем месте не попросил. Я думал... ну, я думал, ты сможешь... думал, тут и для меня место найдется.

– Она спросила меня...

– Так нельзя. Надо ей все прямо сказать. Объяснить, что дело не в том, что кого-то ей предпочли – просто нужно чуть потесниться, чтобы кому-то еще рядом с ней местечко нашлось. Ты должна ей это сказать. А если ты можешь это сказать и действительно так думаешь, тогда тебе должно быть ясно, что нельзя и мне рот затыкать. Я ведь не собирался ей вредить; и мне ее переживания не безразличны; и я, конечно, буду о ней заботиться, если смогу. Но я не могу позволить, чтобы мне затыкали рот, когда она отвратительно ведет себя. Если

хочешь, чтобы я остался, то не заставляй меня молчать.

– Может быть, стоит оставить все как есть? – задумчиво проговорила она.

– А как есть?

– Мы вполне уживаемся.

– А как насчет того, что у каждого на душе?

– Это меня не касается.

– Сэти, если я останусь здесь, с тобой, с Денвер, ты сможешь ходить куда хочешь, говорить, что хочешь. Можешь прыгнуть с любой высоты – я непременно тебя поймаю, детка. Поймаю прежде, чем ты упадешь. Можешь лезть мне в душу как хочешь глубоко – я тебя за ноги удержу. Чтобы ты уж точно смогла вернуться. Я это говорю вовсе не потому, что мне нужно где-то жить. Это-то мне нужно как раз меньше всего. Я же говорил тебе: я настоящий бродяга; но сюда я стремился целых семь лет. Прошел весь этот долгий путь пешком. К северным границам одного штата, к южным – другого, на восток, на запад... Я бывал в такой глуши, что у нее и названия-то нету, и нигде никогда не задерживался подолгу. Но когда я добрался сюда и уселся на веранде, поджидая тебя, вот тогда я и понял, что вовсе не в эти места так стремился; я стремился к тебе. Мы с тобой можем вместе прожить целую жизнь, милая. Целую жизнь!

– Не знаю я. Ох, не знаю!

– Предоставь это мне. Посмотрим, как оно пойдет. Никаких обещаний, если ты не хочешь. Просто посмотрим, как оно пойдет. Хорошо?

– Хорошо.

– Так ты готова предоставить все это мне?

– Ну... кое-что.

– Кое-что? – он улыбнулся. – Ладно. Пусть будет кое-что. В городе идет карнавал. В четверг, завтра, праздник для цветных, и у меня есть два доллара. Мы с тобой и с Денвер отправимся туда и истратим их до последнего цента. Что скажешь?

– Нет! – вот что она сказала. По крайней мере, начала говорить (и вообще, что скажет ее хозяин, если она попросит выходной?), но, сказав «нет», она подумала о том, как ей приятно видеть перед собой лицо Поля Ди.

В четверг кузнечики орали вовсю, и небо в легких перистых облаках казалось белесым от жары уже в одиннадцать. Сэти для такой погоды оделась исключительно неудачно, но, поскольку это был ее первый выход в свет за восемнадцать лет, она просто чувствовала себя обязанной надеть свое единственное парадное платье, слишком тяжелое и теплое, и шляпку. Шляпка, конечно же, была необходима. Ей не хотелось встретить по дороге Леди Джонс или Эллу и чтобы те подумали, что она идет на работу, раз голова у нее повязана платком. Это платье, немного, правда, поношенное, зато из хорошей шерсти, было рождественским подарком Бэби Сагз от мисс Бодуин, той белой женщины, которая очень любила Бэби. Денвер и Поль Ди оделись куда более подходящим для такой жары образом, потому что не чувствовали – ни тот, ни другая – ни обязанности, ни потребности одеваться как-то особенно торжественно. Денвер даже шляпку сняла, и та болталась где-то у нее за спиной. Поль Ди был в жилетке нараспашку, без пиджака, и рукава на рубашке закатал выше локтя. Они шли, не держась за руки, зато за руки держались их тени. Сэти глянула влево и увидела, как все три их тени скользят по пыльной обочине, держась за руки. Может быть, он все-таки прав? Прожить целую жизнь. Глядя на тени, державшиеся за руки, Сэти с изумлением подумала, что оделась так, словно идет в церковь. Те люди, что идут впереди и позади них, непременно решат, что она важничает, дает им понять, что она не такая, как они, потому что живет в двухэтажном доме; что она сильнее их, потому что смогла сделать и пережить такое, чего они-то уж точно не сделали бы и были уверены, что и она никогда не сделает и не переживет. Она была рада, что Денвер не согласилась с ее настойчивыми требованиями «одеться как следует» или, по крайней мере, переплести косы. Но Денвер и не пыталась сделать эту прогулку хоть сколько-нибудь приятной. Она и пойти-то согласилась надувшись, и на лице у нее прямо-таки было написано: «Ну-ну, давайте, веселитесь! А ну-ка, попробуйте развеселите меня». Зато уж кто был действительно счастлив, так это Поль Ди. Он каждому встречному за версту кричал «привет!», все время смеялся из-за того, какая ужасная сегодня жара,

передразнивал орущих ворон и первым бросился нюхать отцветающие розы. Но что бы они ни делали – смахивала ли Денвер пот со лба, или останавливалась, чтобы завязать шнурок на ботинке; пинал ли Поль Ди ногой камешек на дороге или тянулся, чтобы погладить по щечке ребенка, уснувшего у матери на плече, – все время три тени, что следовали слева от них по обочине, держались за руки. Никто этого не замечал, кроме Сэти, и она вскоре тоже перестала смотреть туда, решив, что это добрый знак. Целая жизнь? Хм, возможно.

Вдоль изгороди лесного склада пышными кустами росли и отцветали розы. Тот пильщик, что посадил их двенадцать лет назад, придавая лесопилке более привлекательный вид – а может, отчасти, искупая грехи, ибо распиливал он деревья, чтобы прокормиться, – был и сам поражен, как быстро они разрослись и заполнили все вокруг, обвив сколоченную из толстых досок ограду, отделявшую склад от находящейся рядом площади, где спали бездомные, бегали дети и один раз в год устроители карнавала устанавливали свои пестрые шатры и палатки. Чем больше увядали розы, тем сильнее становился их аромат, и для каждого, кто приходил сюда в эти дни, карнавал всегда сочетался с запахом умирающих роз. От сладкого запаха кружилась голова и хотелось пить, но он ничуть не уменьшал желание цветных повеселиться, и толпы их тянулись по дороге к площади. Некоторые шли по заросшей травой обочине, другие тряслись в скрипучих повозках по самой пыли. Все, как и Поль Ди, пребывали в приподнятом настроении, которое не мог испортить даже запах умирающих роз (Поль Ди призывал каждого полюбоваться ими). И когда цветные толпой подходили ко входу, перегороженному веревкой, то прямо-таки светились, как зажженные лампы, прямо-таки задыхались от волнения, видя, как белые люди специально для них творят чудеса, изображают клоунов, без головы или с двумя головами сразу, в двадцать футов высотой или, наоборот, в два фута, людей-мастодонтов весом в целую тонну, людей с ног до головы покрытых татуировкой, людей, глотающих стекло и огонь и извлекающих изо рта немыслимой длины ленты, людей, завязанных в узлы, делающих пирамиды из человеческих тел, играющих со змеями и борющихся друг с другом.

Все это было перечислено в афише, которую прочитали те, кто умел читать, и услышали те, кто читать не умел; и даже понимание того, что почти все это неправда, нисколько не уменьшило их аппетита. Клоун у ворот громко обзывал их и их детей («Для щенков вход свободный!»), но из-за его перепачканной едой куртки и дыры на штанах ему прощали все. Да и то сказать – невелика цена за такое удовольствие! Они такого, может, больше в жизни и не увидят. Два цента и оскорбление, брошенное в лицо, – не слишком дорого, чтобы

посмотреть спектакль, который устраивают белые, забавляясь – и забавляя негров. Так что, хотя само по себе веселье было куда ниже среднего (поэтому устроители карнавала и согласились выделить четверг для цветных), все равно четыре сотни чернокожих, что пришли повеселиться, получали массу удовольствий, одно за другим.

Леди-Весом-В-Тонну все плевала в их сторону, но из-за своей толщины доплюнуть никак не могла, и они здорово потешались, видя бессильную злобу в ее заплывших жиром глазках. Танцовщица из «Тысячи и одной ночи» выступала всего лишь три минуты вместо полагавшихся пятнадцати, но заслужила благодарность чернокожих детей, которым не терпелось поскорее увидеть Абу Заклинателя Змей.

Денвер заказала шандру, лакрицу, мятных лепешек и лимонад; все это им подали за столик, а обслуживала их маленькая белая девчушка в дамских туфлях на высоком каблуке. Утешив себя сладостями и видя людей, которые пришли сюда не смотреть на нее с любопытством, а веселиться, причем каждую минуту кто-то говорил «привет, Денвер!», она была почти довольна и даже попробовала взглянуть на этого Поля Ди с другой точки зрения; возможно, он был не так уж и плох. И правда, что-то в нем было такое – когда они втроем стояли и смотрели, как танцует лилипут, взгляды, бросаемые на Поля Ди другими неграми, почему-то смягчались, добрились, а от этого Денвер давно отвыкла. Некоторые даже кивали и улыбались ее матери, и явно никто не мог сопротивляться исходившему от Поля Ди веселью. Он восхищенно хлопал себя по колену, когда Великан танцевал с Лилипутом или когда Двухголовый человек разговаривал сам с собой. Он покупал все, о чем бы Денвер ни попросила, и многое, о чем она не просила вовсе. Он поддразнивал Сэти, уговаривая ее зайти в те балаганы, куда она идти ни за что не соглашалась. Совал ей в рот кусочки лакомств, которые она есть отказывалась. Когда Настоящий Африканский Дикарь стал трясти свою клетку и страшно рычать на них, Поля Ди заявил при всех, что этого парня он знал еще в Розноке.

Поля Ди познакомился и кое с кем нужным и даже договорился насчет подходящей работы. Сэти начала улыбаться в ответ на приветливые улыбки знакомых. У Денвер от радости кружилась голова. И на пути домой тени этих троих, теперь двигавшиеся впереди, по-прежнему держались за руки.

* * *

Полностью одетая женщина в нарядном платье вышла прямо из ручья. Едва выбравшись на сухой берег, она опустилась на землю и прислонилась к шелковице. Весь день и всю ночь просидела она там, опершись затылком о ствол дерева и поломав сзади поля соломенной шляпки. Она чувствовала боль во всем теле, больше всего – в легких. Промокшая насквозь, хватая воздух открытым ртом, она все это время тщетно пыталась бороться со смыкавшимися тяжелыми веками. За день ветерок постепенно высушил и разгладил ее платье, но влажный ночной ветер снова смял его. Никто не видел, как она оказалась на берегу. А если бы и видел, то вряд ли решился бы подойти. Не потому, что она была вся мокрая, или бредила наяву, или дышала с трудом, так, словно у нее астма, но потому, что, несмотря на все это, она улыбалась. Ей потребовалось целое утро, чтобы заставить себя подняться с земли, пройти через лес, мимо гигантских, похожих на замок зарослей букса, миновать лужок и приблизиться к окрашенному серой краской дому номер 124. Совершенно выбившись из сил, она села в первом же приглянувшемся ей уголке – на пень возле лестницы, ведущей на веранду. К этому времени ей уже не так трудно было держать глаза открытыми. Она могла не смыкать веки минуты две, а может, и больше. Но тонкая шейка упорно клонилась вниз, и тогда подбородок касался дорогих кружев, которыми был отделан вырез платья.

Так порой выглядят женщины, которые пьют шампанское даже тогда, когда и праздновать-то вовсе нечего: и шляпки с поломанными полями частенько сидят на них криво; и они клюют носом в общественных местах; и шнурки у них на ботинках обычно развязаны. Но вот кожа у них никогда не бывает такой, как у той женщины, что сидела, тяжело дыша, на пне возле крыльца дома номер 124. Кожа у нее была как у младенца – гладкая, без единой морщинки, даже на суставах пальцев.

Ближе к вечеру, когда закончился карнавал и негры возвращались домой – подсаживаясь к кому-нибудь на повозку, если повезет, или пешком, – юная женщина снова уснула. Солнечные лучи били ей прямо в лицо, так что когда Сэти, Денвер и Поль Ди вышли из-за поворота дороги, то сперва увидели только черное платье, из-под которого торчали расшнурованные башмаки, а пса по кличке Мальчик и след простыл.

– Глядите-ка, – сказала Денвер, – что это?

И вдруг – Сэти и сама не поняла, что случилось, – стоило ей подойти поближе и взглянуть в лицо этой женщины, как она почувствовала, что мочевого пузыря

у нее сейчас просто лопнет. Пробормотав: «Ой, извините», она бросилась за дом. Ни разу с тех пор, как она была совсем маленькой и находилась под присмотром той восьмилетней девочки, которая показала ей мать, она не чувствовала, что может и не удержаться. Добежать до уборной она не успела и вынуждена была задрать юбку у самой ее двери. Из нее буквально хлынул поток. Как у лошади, подумала она. Вода все лилась и лилась, и ей показалось, что это похоже на родовые воды, которыми она чуть не затопила ту дырявую лодку, когда рожала Денвер. «Господи, сколько же из тебя воды выходит, – сказала тогда Эми, – ты бы придержала ее, Лу, а то совсем нас утопишь». Но удержать воды, исторгавшиеся из разверстого чрева, было тогда невозможно – как и теперь. Она надеялась только, что Поль Ди не станет беспокоиться и не пойдет за дом искать ее – ведь тогда он увидит, как она сидит на корточках перед дверью уборной и в пыли уже пробила такую воронку, что смотреть стыдно. И едва она начала думать, не примут ли ее в качестве очередного уродца в свой балаган устроители карнавала, все кончилось. Сэти оправила юбку и бросилась к крыльцу. Там никого не было. Все трое уже вошли в дом – Поль Ди стоял перед незнакомкой и смотрел, как она жадно пьет воду, одну кружку за другой.

– Она сказала, что очень хочет пить, – проговорил Поль Ди. И снял шляпу. – Похоже, ее и впрямь ужасная жажда мучает.

Женщина залпом выпила протянутую ей полную жестяную кружку и попросила еще. Четыре раза Денвер подавала ей полную кружку, и все время женщина пила так, словно только что пересекла пустыню. Когда она наконец напилась, на подбородке у нее осталось несколько капель воды, но она не стала их вытирать. А каким-то сонным взглядом уставилась на Сэти. Голодная, подумала Сэти, и гораздо моложе, чем можно предположить по одежде – дорогие кружева на платье и шляпка из тонкой соломки. Кожа у женщины была безупречной, за исключением трех вертикальных шрамов на лбу, таких тоненьких, что они больше походили на волосы – до того еще, как детские волосы становятся густыми и тяжелыми, как та масса черных кудрей, что скрывалась сейчас у нее под шляпкой.

– Ты здешняя? – спросила Сэти.

Девушка покачала головой и наклонилась, чтобы снять ботинки. Потом задрала платье выше колен и стащила с ног чулки. Когда она заталкивала их в башмаки, Сэти заметила, что ступни у нее, как и ладошки, нежные, словно у младенца.

Ее, верно, кто-то подвез, подумала Сэти. Может, она из Западной Виргинии – многие девушки оттуда надеются подзаработать на уборке табака или сорго. Сэти наклонилась и подняла ее ботинки с пола.

– Как тебя кличут-то? – спросил Поль Ди.

– Возлюбленная, – ответила девушка, и голос у нее оказался таким тихим и хриплым, что все трое переглянулись. Сперва они обратили внимание на голос – и только потом на странное имя.

– Возлюбленная? Это у тебя прозвище такое? – спросил Поль Ди.

– Прозвище? – Она, казалось, была озадачена. Потом сказала: – Нет. – И повторила слово «возлюбленная» по буквам, медленно, словно буквы эти рождались прямо у нее на устах.

Сэти выронила башмаки, которые держала в руках; Денвер села, а Поль Ди улыбнулся. Он узнал эту осторожную манеру – так говорят те, кто, как и он, читать не умеет, но выучил буквы, из которых состоит его имя. Он собрался было спросить, откуда она родом, но передумал. Раз молодая цветная женщина откуда-то убежала, так уж, наверное, не от хорошей жизни. Четыре года назад он как-то оказался в Рочестере и встретил там пятерых женщин с четырнадцатью девочками. Все мужчины в их семьях – братья, дядья, отцы, мужья, сыновья – один за другим были у них отняты. У них был с собой лишь клочок бумаги с адресом священника. К тому времени Война уже года четыре как закончилась, но, похоже, никто, ни белые, ни черные, об этом еще не догадывались. Множество негров, группами и поодиночке слонялись по проселочным дорогам и пастушьим тропам от Шенектади до Джексона. Словно потеряв опору в жизни, они разыскивали друг друга, чтобы услышать хоть словечко о двоюродном брате, о тетке, о друге, который когда-то пригласил: «Ты ко мне непременно заезжай! В любое время. Как будешь поблизости от Чикаго, так заезжай». Некоторые бежали от семьи, неспособной их содержать, некоторые, напротив, стремились воссоединиться с семьей; другие покинули родные места из-за неурожая, из-за гибели всех родственников, из-за того, что их жизни что-то грозило. Совсем маленькие мальчики, моложе Ховарда и Баглера, какими он их знал; разрозненные семьи, порой состоящие из одних только женщин да детей всех оттенков кожи, или наоборот – одинокие, загнанные и сами гонящиеся за кем-то мужчины, мужчины, мужчины – все они перекатиполем носились по стране. Им было

запрещено пользоваться общественным транспортом, за ними охотились кредиторы и репортеры грязных газетенки, вот они и пробирались проселочными дорогами, опасливо озираясь по сторонам и полностью полагаясь друг на друга. Молчаливые – они открывали рот только тогда, когда требовалось произнести обычные вежливые слова при встрече; они никогда не откровенничали и не жаловались сами и не спрашивали других о пережитых горестях и несчастьях, что гнали их с места на место. Белые терпеть не могли таких разговоров. Это все знали.

Так что Поль Ди не стал выяснять, откуда эта молодая особа в шляпке со сломанными полями родом и как сюда попала. Если захочет и у нее будут на это силы, так и сама им расскажет. Больше всего их сейчас интересовало, зачем она здесь. Но у каждого под этим основным вопросом таился и собственный. Поля Ди, например, удивляло то, что башмаки у нее совсем новые; Сэти была глубоко тронута ее прозвищем или именем; воспоминание о надписи на розовом в блестках камне на могиле вызывало в ее душе особую теплоту по отношению к этой девушке. А Денвер пробирала дрожь. Она смотрела на эту спящую, вернее, сонную красавицу и не могла оторвать глаз.

Сэти повесила свою шляпку на крючок и легко обернулась к девушке:

– Какое у тебя милое имя! Возлюбленная, Белавид[2 - Beloved (англ.) – возлюбленная.]... Я буду звать тебя Бел, хорошо? Снимай же шляпку и не стесняйся; сейчас я что-нибудь приготовлю перекусить. А мы на карнавале были – его тут на окраине Цинциннати устраивают. Там столько всякого – стоит посмотреть!

Сидя прямо, опершись на спинку стула, девушка так и уснула, слушая ласковые слова Сэти.

– Мисс! Эй, мисс! – Поль Ди тихонько потряс ее. – Может, ляжешь да поспишь немного, а?

Она чуть приоткрыла глаза – щелочки! – с трудом встала, и ее усталые, с младенчески нежной кожей ноги сами побрели в гостиную. Там она рухнула на кровать Бэби Сагз. Денвер сняла с нее шляпку, а на ноги ей набросила стеганое лоскутное одеяло с двумя оранжевыми квадратами. Девушка дышала,

как паровоз.

– Похоже, круп у нее, – сказал Поль Ди, прикрывая в гостиную дверь.

– А жара у нее нет? Денвер, ты ей лоб не щупала?

– Щупала. Холодный.

– Ну, значит, это лихорадка. Когда у человека лихорадка, ему всегда то жарко, то холодно.

– А может, это и холера, – сказал Поль Ди.

– Ты так думаешь?

– Воды уж больно много пьет. Верный знак.

– Бедняжка. И ничего у нас в доме нет от этой болезни. Придется ей самой выкарабкиваться. Вот уж отвратительная болезнь – хуже не придумаешь.

– Она вовсе не больна! – заявила вдруг Денвер так горячо, что они улыбнулись.

Четыре дня девушка спала; просыпалась только для того, чтобы напиться воды. Денвер самоотверженно ухаживала за ней, оберегала ее сон, прислушивалась к затрудненному дыханию и, из ревности и отчаянной любви, старательно скрывала, что у их гости недержание мочи. Она тайком стирала и выполаскивала простыни, когда Сэти уходила в свой ресторан, а Поль Ди отправлялся к причалам, чтобы подзаработать на разгрузке барж. Она готова была без конца кипятить и подсинивать белье, лишь бы эта лихорадка у Возлюбленной поскорее прошла без следа. И так она была поглощена всеми этими заботами, что порой забывала поесть и совсем не ходила в свою изумрудную комнатку.

– Бел? – звала шепотом Денвер. – Бел? Возлюбленная? – Но когда черные глаза чуточку приоткрывались, могла выговорить лишь: – Я здесь, я все время здесь, я с тобой.

Порой, когда Возлюбленная слишком долго смотрела перед собой туманным взором и молчала, только облизывала губы и глубоко вздыхала, Денвер просто с ума сходила от страха.

– Да что же с тобой такое? – не выдерживала она.

– Тяжело, – шептала та. – Здесь очень тяжело.

– Может, сесть хочешь?

– Нет, – шелестел еле слышный голос.

Прошло еще три дня, прежде чем Возлюбленная заметила оранжевые квадраты на темном фоне лоскутного одеяла. Денвер была очень этим довольна – теперь больная бодрствовала куда дольше. Казалось, она была полностью поглощена созерцанием выцветших оранжевых лоскутов, даже попыталась приподняться на локте и погладить их. Попытка эта, впрочем, совершенно лишила ее сил, и Денвер перестелила одеяло так, чтобы самая веселая его часть была как раз на уровне глаз девушки.

Терпение, то, чего Денвер никогда не имела прежде, стало теперь основной ее чертой. Пока мать ни во что не вмешивалась, она была прямо-таки идеальной сиделкой, самым состраданием. Но стоило Сэти попытаться помочь, как Денвер превращалась в мегеру.

– Она сегодня хоть ложку чего-нибудь съела? – строго спрашивала Сэти.

– Она и не должна ничего есть, раз у нее холера.

– А ты уверена, что это холера? Это ведь только Поль Ди так говорит.

– Ну не знаю, да только пока что она все равно есть ничего не станет!

– По-моему, у холерных больных рвота все время...

– Ну так тем более есть ей ни к чему, верно?

– Знаешь, от голоду-то ей ведь тоже умирать ни к чему, Денвер.

– Ох, мама, оставь нас в покое. Я о ней сама позабочусь.

– Она хоть говорила что-нибудь?

– Уж это-то я бы тебе сразу сказала.

Сэти посмотрела на дочь и подумала: да, ей здесь было очень одиноко. Очень.

– Интересно, куда это Мальчик подевался? – Сэти решила, что пора переменить тему.

– Он больше не вернется, – сказала Денвер.

– А ты откуда знаешь?

– Знаю, и все. – Денвер взяла с тарелки кусок сладкого пирога и пошла в гостиную.

Она уже хотела было сесть на привычное место, как вдруг глаза Возлюбленной широко распахнулись. Сердце у Денвер бешено забилося. Нет, она не впервые смотрела в это лицо и не впервые в этих больших черных глазах не было ни малейших признаков сонливости. И не впервые она видела яркие, голубоватые белки. Дело в том, что эти огромные черные глаза вообще ничего не выражали.

– Ты чего-нибудь хочешь?

Возлюбленная посмотрела на кусок пирога у Денвер в руке, и та протянула его ей. Больная улыбнулась, и сердце Денвер тут же перестало колотиться как бешеное, чувствуя долгожданное облегчение, точно путник, который наконец-то добрался до дому.

С этой минуты и во все последующие дни всегда можно было рассчитывать, что любая сладость доставит Возлюбленной удовольствие. Она словно и на свет-то родилась только для того, чтобы сладости есть. Годилося все – сотовый мед,

посыпанный сахарным песком ломоть хлеба, старая черная патока, намертво затвердевшая в жестянке, лимонад, самодельные конфеты из сахара и масла, и вообще – все сладкое, что Сэти приносила домой из ресторана. Возлюбленная превращала стебель сахарного тростника в мочалку, однако продолжала держать его во рту, даже когда последняя сладкая капелька, казалось, была высосана. Денвер, глядя на это, смеялась, Сэти улыбалась, а Поль Ди говорил, что его от этого зрелища просто тошнит.

Сэти считала, что выздоравливающий после тяжелого недуга организм просто требует сладкого. Однако у их гости потребность эта нисколько не уменьшалась, а постоянно росла, и хотя она давно поправилась, но явно никуда уходить не собиралась. Похоже, ей просто некуда было идти. Во всяком случае, она ни о чем таком не упоминала, как, впрочем, не очень-то представляла себе и то, зачем оказалась в этих местах или там, откуда пришла сюда. Они решили, что все это – последствия лихорадки: и забывчивость, и чрезвычайная медлительность. Молодая женщина, лет девятнадцати-двадцати, стройная и тоненькая, она двигалась, как если бы была во много раз толще и старше, – держась за мебель и подпирая голову ладошкой, словно шея ее не в состоянии была выдержать такую тяжесть.

– Ты что ж, так и собираешься вечно ее кормить? – спрашивал Сэти Поль Ди, удивленный собственной жадностью и тем раздражением, которое все это у него вызывало.

– Денвер любит ее. Да и мне особого беспокойства нет. Пусть ей полегче станет. По-моему, у нее внутри еще не все в порядке – уж больно тяжело дышит.

– Странная она какая-то... – пробормотал Поль Ди, словно разговаривая сам с собой.

– Чем же странная?

– Ведет себя как больная, голос у нее тоже как у больной, а больной не выглядит. Кожа хорошая, чистая, глаза ясные, да и сама сильная, как бык.

– Не такая уж она сильная! Еле ходит, все время за что-нибудь держится.

– Вот и я о том же. Ходить как следует не может, а качалку одной рукой поднимает – я лично видел.

– Неправда!

– Не спорь. Спроси лучше Денвер. Она там рядом была.

– Денвер! Поди-ка сюда на минутку.

Денвер, мывшая веранду, заглянула в окно.

– Поль Ди говорит, что вы с ним видели, как Бел одной рукой качалку подняла. Было такое?

Длинные тяжелые ресницы скрывали глаза Денвер, она, казалось, была целиком поглощена работой; взгляд ее ускользал, даже когда она спокойно поднимала глаза и смотрела прямо на Поля Ди.

– Нет, – сказала она. – Я ничего такого не видела.

Поль Ди нахмурился, но промолчал. Если до сих пор дверь в стене между ними и была чуть приоткрыта, то теперь она захлопнулась навсегда.

* * *

Капли дождя льнули к длинным сосновым иглам, даря им жизнь, а Возлюбленная не могла отвести взор от Сэти. Шагнет ли та к раковине, чтобы отжать влажную губку, или начнет колоть щепу для растопки, все время глаза Возлюбленной гладили ее, ласкали, пробовали на вкус, можно сказать, съесть были готовы. Как закадычная подружка, девушка постоянно вертелась возле Сэти, старалась никуда не выходить из комнаты, если женщина была там, – разве что та сама попросит ее что-нибудь принести или сделать. Она вставала затемно и была наготове – ждала, когда Сэти спустится вниз, чтобы сготовить что-нибудь по-быстрому до ухода на работу. При свете лампы и горящих в плите дров две их тени сходились, сплетались на потолке, словно два черных меча. Бел торчала у окошка с двух часов дня, поджидая Сэти с работы, или сидела на веранде, потом – на нижней ступеньке крыльца. Позже она стала выходить

на тропинку, ведущую к Блустоун-роуд, пока наконец не осмелела настолько, что стала уходить от дома все дальше и дальше, чтобы встретить Сэти на дороге и вместе с ней отправиться домой. Она будто все время боялась, вернется ли к ней ее старшая подруга.

Сэти льстило это неприкрытое, тихое обожание. Подобная привязанность собственной дочери (если ее можно было ожидать от Денвер) непременно вывела бы ее из себя и страшно бы огорчила, потому что это свидетельствовало бы о том, что она вырастила типичную маменькину дочку, которая без нее и шагу ступить не может. А обожание этой милой, хотя и очень странной гостью было ей приятно – как приятно учителю поклонение фанатичного ученика и последователя.

Теперь приходилось все раньше и раньше зажигать в доме свет – дни становились совсем короткими. Сэти уходила на работу в темноте; Поль Ди в темноте возвращался домой с работы. В один из таких вечеров, мрачный и холодный, Сэти, разрезав брюкву на четыре части, поставила ее тушиться и отсыпала Денвер стакан гороха – перебрать и замочить на ночь. Потом уселась передохнуть. Согревшись у плиты, она задремала и вдруг почувствовала прикосновение Возлюбленной. Прикосновение было совсем легкое, точно листок с дерева упал, однако полное какой-то тайной страсти. Сэти вздрогнула и открыла глаза. Сперва она увидела у себя на плече нежную руку Бел, потом, прямо перед собой, ее глаза. И в них – поистине бездонную тоску. И какую-то с трудом сдерживаемую мольбу. Сэти погладила ее по руке и быстро взглянула на Денвер, но та на них не смотрела – была занята горохом.

– А где твои бриллианты? – Бел не сводила глаз с лица Сэти.

– Бриллианты? Скажи на милость! Да на что они мне, бриллианты эти?

– В ушах носить.

– Да, оно бы неплохо, конечно. Были и у меня когда-то хрустальные сережки. Подарок от прежней белой хозяйки.

– Расскажи! – потребовала Бел, так и просяив от счастья. – Расскажи мне о твоих бриллиантах.

Такие рассказы она готова была слушать без конца. Это было сродни ее любви к сладкому, обнаруженной Денвер, – они вызывали почти такой же восторг. И вот что было в этом для Сэти удивительно: у нее самой всякое воспоминание о прежней жизни вызывало боль; все это было утрачено навсегда. У них с Бэби Сагз существовал молчаливый уговор никогда не поднимать запретную тему прошлого; на расспросы Денвер Сэти отвечала или предельно коротко, или невнятными отговорками. Даже с Полем Ди, который и сам был из ее прошлого и с которым она могла говорить о событиях той жизни относительно спокойно, вспоминать о случившемся всегда было мучительно – словно без конца тревожить едва затянувшуюся ранку в уголке губ.

Но когда она начала рассказывать Бел о тех сережках, то вдруг поняла, что ей это даже приятно! Может быть, потому, что Бел не имела никакого отношения к тем временам и событиям, а может, потому, что она так горячо просила рассказать ей об этом – так или иначе, удовольствие было совершенно неожиданное.

И вот, под постукивание перебираемых горошин и острый запах тушащейся брюквы, Сэти рассказывала о том, куда подевались те хрустальные сережки, что когда-то покачивались у нее в ушах.

– Когда я вышла замуж, их подарила мне моя хозяйка, там, в Кентукки. То есть это только так называлось – «выйти замуж». По-моему, она понимала, как у меня скверно на душе из-за того, что не будет ни свадьбы, ни священника. Ничего. Я раньше думала, что обязательно хоть что-то должно быть – чтобы можно было сказать, что свадьба была сыграна правильно и по-настоящему. Мне было мало, если бы он просто перенес в мою хижину свой тюфяк, набитый листьями от кукурузных початков. Или – я бы перенесла в его хижину свой ночной горшок. И ничего больше. Я думала, что хоть какой-то праздник должен быть. Может, танцы. Турецкие гвоздики у меня в волосах. – Сэти улыбнулась. – Я никогда не видела ни одной настоящей свадьбы, но миссис Гарнер показывала мне снимок в газете, где она в подвенечном платье, и рассказывала о том, как все было устроено. Два фунта коринки ушло только в пирог, говорила она; и забили целых четыре овцы. Пир продолжался два дня подряд. Вот и мне хотелось чего-нибудь похожего. Может быть, устроить так, чтобы мы с Халле и все остальные люди из Милого Дома уселись за стол и съели что-нибудь эдакое. И еще мне хотелось пригласить гостей – цветных из Ковингтона или Хай-Триз. Там Сиксо частенько бывал, тайком, конечно. Но все равно никакого праздника не получилось. Нам просто сказали: ладно, будьте мужем и женой, и все.

И больше ничего.

Что ж, тогда я решила хотя бы сшить себе свадебное платье, что-нибудь получше того тряпья, в котором вечно на кухне возилась. Я потихоньку припрятала разные куски материи и в конце концов состряпала себе нечто невероятное. Верх из двух наволочек, украденных из рабочей корзинки миссис Гарнер. Переднюю часть юбки я смастерила из нарядного шарфа хозяйки, на котором упавшая свеча прожгла дыру прямо посередине; этот шарф я пристроила к широкому кушаку, на котором мы обычно утюг пробовали. А вот из чего сделать заднюю часть юбки, долгое время придумать не могла. Ничего такого не попадалось ненужного, чего сразу не хватились бы. Мне ведь потом все это надо было распороть и положить туда, откуда взяла. Халле терпеливо ждал, когда я это платье дошью. Он понимал, что без платья для меня никакой свадьбы не будет. В конце концов я взяла противомоскитный полог, что в амбаре на гвозде висел – мы через него сок процеживали для желе – замочила его как следует и выстирала, а потом собрала в сборки и приметала к кушаку и лифу вместо задней половины юбки. И все – да только более нелепого платья и представить себе невозможно. Положение спасала только моя шерстяная шаль; в ней я не выглядела как самая распоследняя нищая уличная торговка. Мне ведь и было-то всего четырнадцать, и, наверное, поэтому этим нарядом я все-таки очень гордилась.

В общем, миссис Гарнер, должно быть, увидела меня в нем. Я-то считала, что краду все очень ловко, а она, оказывается, знала о каждом моем шаге. Даже о нашем медовом месяце: мы тогда на кукурузное поле с Халле ходили. И в самый первый раз тоже пошли туда. Это было днем, в субботу. Он вымолил разрешение не ходить на работу. Обычно-то он по субботам и по воскресеньям на стороне работал, чтобы выплатить долг за Бэби Сагз. Но в тот день он упросил хозяина, а я надела свое замечательное платье, и мы, держась за руки, отправились на кукурузное поле. Я до сих пор помню запах жарящихся кукурузных початков, доносившийся из-под дерева, где сидели все три Поля и Сиксо. На следующий день миссис Гарнер поманила меня пальцем и повела вверх, в свою спальню. Там она открыла деревянную шкатулку и достала из нее пару хрустальных сережек. И сказала: «Вот, хочу тебе подарить, Сэти». Я говорю: «Да, мэм». «У тебя уши-то проколоты?» – спрашивает она. Я говорю: «Нет, мэм». «Что ж, проколи, – велела она, – и носи эти сережки – на счастье. Я хочу, чтобы ты носила их и чтобы вы с Халле были счастливы». Я поблагодарила ее, но так никогда их и не надела, пока не убежала. На следующий день после моего появления в этом доме Бэби Сагз развязала узелок на моей нижней юбке и вынула оттуда хрустальные сережки. Я как раз

сидела вот здесь, у плиты, и держала на руках Денвер, а она проткнула мне в ушах дырочки, чтобы я могла вдеть туда серьги.

– Я никогда не видела, чтобы ты серьги носила, – сказала Денвер. – Где же они теперь?

– Нету, – ответила Сэти. – Давно уже. – И больше не прибавила к этой истории ни слова.

Еще кое-что они узнали об этом в следующий раз, когда все трое вбежали в дом, спасая от налетевшего с ветром дождя белье – простыни и нижние юбки. Задыхаясь и смеясь, Сэти и Денвер стали раскидывать белье на столе и на стульях. Возлюбленная без конца пила, черпая воду кружкой из ведра, и смотрела, как Сэти вытирает промокшие волосы Денвер полотенцем.

– Может, лучше косы-то расплести? – спросила Сэти.

– Да ладно. Завтра. – Денвер так и съежилась, только представив, как частый гребень вонзится в ее густые вьющиеся волосы.

– Не откладывай на завтра то, что можно сделать сегодня, – сказала Сэти.

– Так ведь больно! – возразила Денвер.

– Расчесывай волосы каждый день, вот и больно не будет.

– О Господи!

– А твоя женщина – она тебе никогда волосы не расчесывала? – спросила вдруг Бел.

Сэти и Денвер разом уставились на нее. Даже спустя четыре недели они никак не могли привыкнуть к звуку ее голоса, похожему на хруст гравия под ногами. И ритм ее речи был совсем иной, чем у них.

– А твоя женщина – она тебе никогда волосы не расчесывала? – Этот вопрос, безусловно, был адресован Сэти, потому что Бел смотрела прямо на нее.

– Моя женщина? Ты хочешь сказать, моя мать? Даже если и расчесывала, так я этого не помню. Я ее почти и не видела, разве что несколько раз в поле и еще один раз, когда она готовила синюю краску индиго. Но утром, когда я проснулась, она опять была в поле. Если луна светила ярко, они работали и при ней. А по воскресеньям мама спала как бревно. Она, должно быть, всего недели две-три кормила меня грудью – так и все остальные женщины делали. А потом снова на рисовое поле вернулась, и я сосала грудь другой женщины, которая была обязана всех чужих детей кормить. Так что, наверное, мне нужно ответить «нет». Думаю, нет, она никогда меня не причесывала. Она по большей части и ночью-то спала где-то еще. И, видимо, не в хижинах рабов, насколько я теперь могу догадаться. Но кое-что она для меня действительно сделала. Однажды она схватила меня и потащила куда-то за коптильню. Расстегнула свое платье спереди, приподняла одну грудь и показала мне местечко прямо под ней. Там у нее, на ребрах, был выжжен кружок и в нем крест. Прямо каленым железом на коже. Она сказала: «Вот смотри: это твоя мать. – И ткнула пальцем в кружок. – У меня одной такое клеймо осталось. Все остальные умерли. Если со мной что-нибудь случится и ты не сможешь узнать меня в лицо, то всегда отличишь по этому клейму». Ужасно она меня тогда напугала. И в голове моей сидела только одна мысль: как это важно и как нужно мне тоже сказать ей что-нибудь такое же важное. Но ничего так и не придумав, я сказала первое, что пришло в голову: «Да, мама. Но как же ты-то меня узнаешь? Как? И мне тоже такую метку нужно поставить. Ты мне тоже такую метку поставь». – Сэти засмеялась негромко.

– И что же она? – спросила Денвер.

– Она дала мне пощечину.

– За что?

– Тогда я этого не понимала. Не понимала до тех пор, пока не получила собственное клеймо.

– А с ней что случилось?

– Повесили. К тому времени, как срезали веревку, никто уже не мог сказать, был ли у нее кружок с крестом или не было, и уж меньше всего я. Но я посмотрела все-таки. – Сэти выбрала из гребня волосы и, обернувшись назад,

бросила их в огонь. Они вспыхнули, словно звезды, и противно запахло паленым. – О Господи! – сказала Сэти и встала так резко, что гребешок, который она воткнула в волосы Денвер, упал на пол.

– Мам, что с тобой? Мам?

Сэти подошла к одному из стульев, сдернула с его спинки простыню и с треском ее раздернула. Потом свернула пополам, еще пополам – и еще, и еще раз. Потом взялась за следующую простыню. Простыни еще не досохли, но свертывать их было так приятно, что Сэти не могла остановиться. Ей необходимо было делать что-то руками и немедленно, потому что она вдруг начала вспоминать нечто, как ей казалось, давно забытое. Нечто ужасно постыдное, очень личное, что просочилось в трещинку ее памяти сразу после упоминания о той пощечине и крестике в кружке.

– Почему они повесили твою маму? – спросила Денвер. Она впервые услышала что-то о матери Сэти. Бэби Сагз была единственной бабушкой, которую она знала.

– Я так никогда этого и не узнала. Их там было так много, – сказала Сэти, но все яснее и яснее становилось воспоминание – пока она сворачивала, разворачивала и снова сворачивала простыни, – о той женщине по имени Нан, которая схватила Сэти за руку и потащила подальше от толпы, прежде чем она успела разглядеть клеймо. Нан Сэти знала лучше других женщин; Нан почти весь день была где-то поблизости, она кормила детей и присматривала за ними, готовила, а еще у нее была одна целая рука и только половинка второй. И еще Нан говорила разные слова. Слова эти Сэти тогда понимала, но теперь ни вспомнить, ни повторить не могла. Она считала, что поэтому так мало помнит из жизни, что предшествовала Милому Дому, – только песни, танцы и как много там было народу. То, что рассказывала Нан, Сэти давно позабыла вместе с тем языком, на котором она ей это рассказывала. На том же языке говорила и ее мать, и язык этот она никогда уже вспомнить не сможет. Но самые главные слова – о, они-то всегда были при ней! Их она не могла бы забыть никогда. Прижимая к груди влажные белые простыни, она выуживала из памяти значение тех слов загадочного языка, которого больше не понимала. Ночь. Нан держит ее за руку здоровой рукой, а обрубком второй, жестикулируя, машет в воздухе. «Послушай, что я скажу тебе, маленькая Сэти», и она рассказывала, как мать Сэти и она, Нан, вместе плыли через море. Обоих много раз насиловали матросы – всей командой. Плыли они ужасно долго. «Она всех новорожденных выбросила, всех,

кроме тебя. Одного, что родился после того, как ее изнасиловали всей командой, она оставила на острове. Других, тоже рожденных от белых, она выбрасывала за борт, даже не дав им имени. А тебе она дала имя того чернокожего мужчины. Которого обнимала. Других – не обнимала никогда. Никогда. Никогда. Слушай, это я точно говорю тебе, маленькая Сэти, слушай».

Но на маленькую Сэти это особого впечатления тогда не произвело. А став взрослой, она рассердилась, хотя и не понимала, на что именно. Сейчас же ей вдруг ужасно захотелось повидать Бэби Сагз; желание это обрушилось на нее как волна прибоя. И в тишине, наступившей после грохота этой волны, Сэти посмотрела на обеих девочек, сидевших у плиты: ее болезненную, скудоумную гостью и вечно раздраженную, одинокую родную дочь. Обе показались ей маленькими и очень далекими.

– С минуты на минуту Поль Ди придет... – проговорила она.

Денвер вздохнула с облегчением. Потому что, когда ее мать вдруг застыла, погруженная в свои мысли, машинально сворачивая простыни, Денвер, стиснув зубы, молила Бога, чтобы все это поскорее кончилось. Она терпеть не могла, когда мать рассказывает о чем-то, не связанном с ней, Денвер, или еще с Эми. Весь остальной мир казался ей тем более могущественным и прекрасным, что ей-то в нем места не было. И, не принадлежа ему, она его ненавидела и хотела, чтобы Возлюбленная тоже возненавидела его, хотя на это и не было ни малейшей надежды. Ее подруга, напротив, пользовалась любой возможностью, чтобы задать какой-нибудь забавный вопрос и заставить Сэти что-нибудь рассказать. Денвер заметила, с какой жадностью она слушает эти рассказы. А теперь она заметила и еще кое-что: те вопросы, которые задавала Возлюбленная: «А где твои бриллианты?» или «А твоя женщина – она никогда тебе волосы не расчесывала?», не были неприятны матери. Но самым удивительным был вопрос: «Расскажи мне о твоих сережках?»

Как она об этом узнала?

Возлюбленная сияла, и Полю Ди это очень не нравилось. Женщины, они ведь как клубничные кусты, когда собираются «усы» выпустить: сперва меняется цвет листьев; потом появляются тонкие усики, потом бутоны. К тому времени, как опадают белоснежные лепестки и образуются бледно-зеленые ягоды, сами

листья становятся блестящими, темными и плотными, словно покрытыми воском. Так и выглядела теперь Возлюбленная – блестящей и сияющей. Поль Ди теперь занимался любовью с Сэти по утрам, едва проснувшись, чтобы позже, когда он спускался вниз по белой лесенке в кухню, где она была занята стряпней под неусыпным наблюдением Бел, голова у него была уже ясной.

По вечерам, когда он возвращался домой и они все втроем собирались на кухне, накрывая на стол, ее сияние становилось столь очевидным, что он удивлялся, как это Денвер и Сэти ничего не замечают. А может, и они это видели. Женщины, как, впрочем, и мужчины, всегда могут определить, когда какую-то одну из них охватывает любовная лихорадка. Поль Ди осторожно глянул на Бел, пытаясь понять, чувствует ли это она сама, но она не обращала на него ни малейшего внимания – зачастую даже не отвечала на прямо заданный ей вопрос. В таких случаях она обычно только смотрела на него, однако рта не открывала. Уже пять недель она прожила с ними в одном доме, но они знали о ней не больше, чем в тот день, когда нашли ее дремлющей на пне.

Они сидели за столом, который Поль Ди сломал в тот день, когда впервые появился в доме номер 124. Ножки он ему потом приделал, и куда более крепкие, нежели были раньше. С капустой было почти покончено, а на тарелках у них возвышались горки обглоданных косточек от копченых свиных ножек. Сэти раскладывала хлебный пудинг, невнятно бормоча, что, дескать, надеется, что он получился ничего, и заранее извиняясь, как это всегда делают искусные повара, опасаясь, что лакомство все-таки не удалось, и тут что-то в лице Возлюбленной, какая-то особая, собачья преданность в ее глазах, неотрывно смотревших на Сэти, вдруг заставила Поля Ди спросить ее:

– Неужели у тебя ни братьев, ни сестер нет?

Бел покачала ложкой, но на него не посмотрела.

– Никого у меня нет.

– Что же ты искала, когда пришла сюда? – снова спросил он.

– Это место. Я искала место, где могла бы жить.

– Тебе кто-нибудь рассказывал об этом доме?

– Она рассказывала. Когда я была на мосту, она сказала мне.

– Это, наверно, кто-то из старых знакомых, – догадалась Сэти. Из тех времен, когда дом номер 124 был пересадочной станцией, куда доставлялись различные послания, а потом и те, кто их отправил. Где обрывки сведений разбухали и наполнились животворными соками, словно сушеные бобы в чистой воде – пока не становились вполне удобоваримыми.

– И все же, как ты попала сюда? Кто тебя привел?

Теперь она смотрела на него твердым взглядом, но ничего не отвечала.

Он чувствовал, с каким трудом сдерживают себя Сэти и Денвер, как напряглись их мускулы, как, точно липкая паутина, ползет от них желание коснуться друг друга. Но он решил во что бы то ни стало заставить ее заговорить.

– Я спросил, кто тебя сюда привел?

– Я пришла сюда пешком, – сказала она. – Шла долго-долго. Очень долго. И никто меня не привел. Никто мне не помог.

– У тебя же ботинки были ничуть не изношенные! Если ты так долго шла пешком, что ж по твоей обуви этого не заметно?

– Поль Ди, перестань! Не дразни ее.

– Я хочу понять, – сказал он, точно указкой размахивая перед собой столовым ножом.

– Да сняла я эти ботинки! И платье сняла! Все равно на этих ботинках шнурки не завязывались! – Бел, выкрикнув это, так злобно на него посмотрела, что Денвер тронула ее за руку.

– Я научу тебя зашнуровывать ботинки, – сказала ей Денвер и тут же получила от Бел благодарную улыбку.

У Поля Ди было отчетливое ощущение, что он схватил за хвост крупную серебристую рыбину, но в тот же миг она выскользнула у него из рук и исчезла, блеснув в темной глубине. Но если ее сияние предназначено не для него, то для кого же? Он никогда не встречал женщины, которая вдруг начала бы вся светиться изнутри не ради определенного человека, а просто так, словно объявляя об охватившем ее желании. Опыт подсказывал ему, что подобное сияние возможно лишь в том случае, если ему есть на чем сфокусироваться. Как у той женщины с тридцатой мили, которой было ужасно скучно курить и ждать с ним вместе в канаве, пока не пришел Сиксо; и вот тут-то она и засияла, как звездное небо. Нет, на сей счет он никогда не ошибался. Он сразу почувствовал это, стоило ему тогда взглянуть на мокрые босые ноги Сэти, иначе он никогда не осмелился бы в тот, самый первый, день обнять ее и прошептать ей в спину теплые слова.

Но эта девица, эта Возлюбленная, бездомная и одинокая, вела себя просто невероятно, а почему, он не смог бы с точностью сказать, хотя за последние двадцать лет повидал немало разных цветных. Во время Войны, до и после нее, он видел негров настолько потрясенных и растерянных, настолько голодных и усталых, настолько обездоленных, что просто чудо, как это они вообще способны были что-то вспомнить или рассказать. Многие, как и он, прятались в пещерах и охотились на сов, которых ели; многие, как и он, крали пойло у свиней; многие, как и он, спали днем на деревьях, привязавшись к веткам, а шли только ночью; многие, как и он, зарывались в отбросы на помойках и прыгали в колодцы, только бы не попасться в облаву, только бы не заметил патруль и прочие бывалые люди – егеря, ополченцы, те, кого созывают шерифы для подавления беспорядков; только бы не обратили внимания любители позабавиться. Однажды он встретил чернокожего мальчишку лет четырнадцати, который жил в лесу совершенно один и утверждал, что не помнит, чтобы когда-либо жил в настоящем доме. А еще он видел, как схватили и повесили безумную негритянку – за кражу уток, которых она считала своими детьми.

Перебираться с места на место. Идти пешком. Бежать. Прятаться. Красть и снова перебираться с места на место. Лишь однажды ему удалось задержаться в одном городе – с одной женщиной, точнее, с одной семьей – более чем на несколько месяцев. Это было единственный раз – с той ткачихой в Делавэре, самом отвратительном месте для негров, с его точки зрения, помимо округа Пуласки в Кентукки и, конечно, того лагеря-тюрьмы в Джорджии.

Ото всех этих негров Возлюбленная очень отличалась. Ее сияние, ее неношенные башмаки... Все это тревожило Поля Ди. И может быть, больше всего беспокоило его как раз то, что сама она не тревожилась нисколько и совершенно не обращала на него внимания. А возможно, и то, что она так удивительно точно подгадала: объявилась здесь в тот самый день, когда они с Сэти уладили все споры, вышли на люди и имели полное право как следует повеселиться – как настоящая семья. Даже с Денвер тогда что-то начало меняться к лучшему, пожалуй. Сэти смеялась; ему пообещали постоянную работу, дом номер 124 был очищен от духов. Жизнь начинала входить в нормальную колею. И на тебе! Какая-то водохлебка, а не женщина, вдруг является, заболевает, остается в их доме, поправляется – и отсюда ни на шаг!

Конец ознакомительного фрагмента.

notes

Сноски

1

Искаженное uncle (англ.) – дядя.

2

Beloved (англ.) – возлюбленная.

Купить: https://tellnovel.com/ru/morrison_toni/vozlyublennaya

Текст предоставлен ООО «ИТ»

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию: [Купить](#)